

Калихан

Искаков



ЛЕГЕНДА О ЗЕМЛЕ БЕЛОВОДЬЕ

Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава четвертая

1

Дважды грохнул выстрел, и дважды вспышка прорвала глухую темень. И грохот выстрелов и вспышки ночь поглотила равнодушием, будто их и не было. Кобель с лаем ринулся в темноту, будто почуял там кого-то, но тут же вернулся восвояси, мокрый и шумный, встал у ног Бескемпир, настороженно глядя перед собой, как будто можно было что-то увидеть дальше собственного носа. Из-за дождя со снегом не видно было ни зги. Бескемпир снова выстрелил дважды. Кобель на сей раз и не подумал бежать. Слышался лишь непрерывный шорох мокрого снежного месива, которое рушилось с неба, да изредка у стога всхрапывали кони.

Бескемпир, втянув голову в плечи, поплелся в избу.

В избушке стояла влажная духота. Вокруг печи были развешаны мокрая одежда, хомуты и упряжь. Из полумрака блеснули синие Лесины глаза. Мишель с неизменным постоянством жевал. Он хрумкал сухарями, и казалось, будто в комнате конь ест овес. Сухари он запивал голым кипятком, причем пил его с таким вкусом, словно это была сурпа из молодого барашка. При этом он смахивал с лица ладонью обильный пот, и вид у него был сосредоточенно блаженный.

Со второго этажа нар торчали черные пятки Таскабака. Беспечность этих людей возмутила Бескемпир. Он сорвал со стены спусковой шнур движка и зло бросил Мишелю:

– Подай лампу!

Тот едва не подавился, и пока он прожевывал и очухивался, нары закрипели, и бригадир свесил оттуда сонную голову:

– Не шебуршился бы ты, жырау, а лег бы что ли?

– Тебе спится, вот и спи, – буркнул Бескемпир, и добавил вполголоса: – Если совесть позволяет...

Продолжение. Начало в №8, 2023.



– При чем тут совесть? – Мишель наконец заглотнул свою жвачку. – Бензин кончается, а в движок он идет как в прорву. Ну, заблудился этот бродяга, нам что теперь – помирать?

– А попал бы ты в такой переплет, что ты запел бы тогда?! – Бескемпир в сердцах вырвал из рук Мишеля тостаган, из которого тот пил чай, и швырнул чашку о порог. – А ну, встань! Подай лампу!

– Ты что – сдурел? – Мишель, боязливо вытянув шею, скосил глаза в сторону нар, как бы там ища поддержки и защиты, но бригадир лежал с каменной мордой, и понять, что он думает по этому поводу, было невозможно. – Нет, он и впрямь сдурел! – говоря это, Мишель протрусил в угол, вытащил оттуда электролампочку на длинном шнуре, боязливо подал ее Бескемпиру и, бочком обежав его, поднял чашку с отбитым краем. – Та глянь на них! Посуду перебили. Намедни тот, теперь этот...

Сверху потоком лилось мокрое снежное месиво. Ветер, косой, режущий ветер, он только что дул с востока, и вдруг взбрыкнул, налетел вихрем с гор. Буран-штатун кидался из стороны в сторону, устроив свирепую карусель промеж гор и долин и не собираясь идти на убыль. Бескемпир подтащил движок под навес и долго дергал за спусковой шнур, пытаясь вызвать в жизни тарахтящие звуки. Но еле мерцающего света единственной лампочки хватило только на то, чтобы из тьмы проглянули сарай и конюшня во дворе, а дальше белая стена была неодолима, она соединила небо и землю, и что там за ней – бог весть.

Бескемпир опять вошел в избу. Всё те же голубые Лесины глаза, неотрывно глядящие на спицы, и всё та же равнодушная задница Таскабака на нарах. Мишель на мгновенье прервал хрумканье сухарями, затаился. Казалось, никто из них не видел, как он вошел, не слышал, как он велел им до рассвета не глушить движок, а сам, громыхая, подался на улицу с двустволкой и седлом. Свирепствовавшая круговерть дождя и снега, рычащий движок, ветер, который колошматил в окно и в стены, грозя если не опрокинуть избушку, то потащить ее куда-то в преисподнюю...

Мишель уже по третьему разу проверил всю посуду, ничего не нашел и теперь, сам себе не веря, вконец пал духом, стоял у огня, плечи у него опустились, и вид был разнесчастный. Теперь он рыскал глазами по стенам и потолку, надеясь на некое чудо, и вдруг увидел канистру со спиртом.

– У нас что – помер кто-то? – он задумчиво смотрел на канистру. – Прямо траур какой-то...

Жакуп и Леся – ни звука в ответ.

– Простудился я, однако, – подъехал он с другой стороны и даже попытался нащупать свой седалищный нерв. – Радикулит. Компресс нужен.

Жакуп и Леся – опять ни звука.

– А не обчистил ли он нас всех? – это уже был какой-то мудреный маневр.

Жакуп и Леся опять не откликнулись, а он нырнул под нары, поднял подстилку и, вытащив заваленный хвоей сундук, начал в нем рыться. Всё барахлишко оказалось на месте. Он развязал свой вожделенный узелок и принялся считать деньги. Считал он их до седьмого пота, глаза у него чуть не вылезали из орбит, настолько было тяжелым было это занятие. Под конец на лице его отобразилось удивление – сбережения были в сохранности, но стрессовая ситуация налицо. Зажевать бы ее хоть чем-нибудь. Чем?.. Не найдя ну никакого отклика от Жакупа

и Леси, он решил, что самое мудрое сейчас – уснуть, и тоже брякнулся на нары, повернулся задом.

За окном послышался шорох. Поскольку мужики никак не среагировали, продолжали лежать, отвернувшись к стене, Леся подошла к окну. Свет сиротливой лампы, качавшийся от ветра, по-прежнему не мог прорвать завесу тьмы, всё так же бесновалась пурга, и хлестал белый дождь, или черный снег, или как там еще называется эта адская смесь, которой небо одаривает землю на исходе марта.

– Кажется, у избы кто-то ходит...

Жакуп и Мишель даже не шелохнулись.

– И собака молчит...

Жакуп и Мишель никак не откликались.

– Господи! Неужто с ним беда случилась?

– Ты кончишь причитать? – Жакуп завопил на жену во всю глотку, и канистра со спиртом отозвалась как мембрана тому воплю, породив встревоженный и гулкий звук. – Чего ты каркаешь?!

Он взбешенный вскочил с лежанки, с ненавистью глянул в потупившееся лицо жены, на грязные ступни ног Мишеля, торчащие на нарах, брезгливо прислушался к шороху дождя со снегом, к тархатенью движка, рванул с вешалки плащ и как сумасшедший выскочил наружу.

Леся подложила в огонь дров, вывернула сушившуюся одежду изнанкой, опять развесила ее у печи. И снова показалось, будто кто-то смотрит в запотевшее окно. Лесе стало не по себе.

Чтобы как-то отвлечься, она взяла с полки карты и принялась гадать.

– Женеше! – соизволил наконец-то подать голос Мишель. – Слышь, женеше!..

– Чего тебе?

– Погадай мне, женюсь я или нет?

– Что за печаль! – усмехнулась она. – Девушек на выданье много, а ты у нас жених богатый.

– Девушек? Зачем мне девушка? Она расходов требует, ей бы денежки только проматывать. А мне нужна вдова. Чтобы с домом, с хозяйством. Можно с детьми... С детьми даже лучше – налог за бездетность не надо платить.

Туповатое лицо Мишеля было предельно серьезным, и Лесю передернуло от его двойного, как у борова, подбородка, от маленькой и несуразной головы, с хрящами ушей врастопырку, с большим жабым ртом. Попадется же кому-то такое... счастье!

Она вздохнула, раскинула карты:

– Что будет? О-о, сплошное везенье! Сыт, пьян и нос в табаке...

– Мне больше ничего не надо!

– Но... постель твоя будет пуста. Дамы сердца что-то не видно.

– И то хорошо. Лишний рот – лишняя обуза.

– Э-э, и детей у тебя не предвидится, и собственного дома не выпало.

– Ну и черт с ними, с детьми. Дети – они же при мне, – и он скабрёзно ухмыльнулся. – А дом... зачем мне дом, когда и в общежитии можно перебиться?

– Кретин, – сказала она.

А он рассмеялся, довольный:

– Ну-у, ты провидица, однако. И знаешь, почему? Я не видел еще мужика, чтобы ради жены и детей добро собирал. Ни одного! Ясно? Мужик, он не такой

дурак, чтобы денежки бабе подсунуть... Не веришь? А вот бросит тебя Жакуп, сама убедишься. И не говори потом, что я тебя не предупреждал. Мой совет тебе: кассу держи с ним отдельно.

Жакуп, ушедший налегке, не возвращался. Стрелки будильника, короткие, жирные, как пальцы Мишеля, уже клонились ко второму часу ночи. Опять помстилось: чья-то тень мелькнула за окном. И показалось, что снаружи доносится хрипящий задыхающийся звук. Леся выбежала на улицу, прихлопнув дверь и смех Мишеля, и его дурацкие слова. Она едва не задохнулась от ветра и мокрого снега. Пока оббежала загон для лошадей, пока торкалась у стога сена, упала дважды, обвалялась в грязи. Она всё время звала Жакупа, Бескемпира, Бекета, но никто не откликнулся ей. Даже Керауыз исчез. У окна мельтешил не человек – мельтешили тени от тусклой лампочки, раскачиваемой ветром. Казалось, мир сжался и умещался весь без остатка в пределах сиротливого мятущегося света всё той же сиротливой лампочки. Леся поёжилась от холода. Куда же он запропастился, Жакуп?..

Жакуп сидел в землянке, заткнув единственное оконце и засветив коптилку. Он перерыл все вещи Бекета, потом разложил их на столе. Тут-то и вошла в землянку Леся. При ее появлении он сжался, будто увидел змею, снова сгреб вещи в охапку и бросил их в сундук.

– Сидишь? – спросила она.

– Сижу.

– А чего сидишь?

– Надо.

От сероватого света коптилки усы и борода Жакупа топорщились и самопроизвольно шевелились, в них проглядывала середина, лицо казалось бледным, ни кровинки. Он закрыл сундук, поставил его на место, хотел уйти.

– Стой! – сказала она.

Он, будто замороженный ее небесно-синими глазами, замер. И так, оцепенев, они стояли какое-то время, не говоря ни слова, но при этом как бы встревоженно высматривая что-то друг в друге, как высматривал рисованный черт на дощечке в маске с ослиными ушами и бессмысленно раскрытым ртом.

– И долго так будем стоять?

– Стоять – не лежать. Это в постели надо торопиться, чтобы другие не опередили...

В голову Жакупа ударила кровь. Он обернулся с порога, готовый в клочья разорвать жену, но встретив неподвижный, почти что остекленевший от ярости взгляд, молча опустил на скамейку.

– Ну, и дальше что?

– Где Бекет?

– Пес его знает!

– Нет, не пес – ты знаешь... Где ты был днем, когда ушел с делянки?

– На могиле деда.

– Хоть бы тень покойного не трогал, – и она отдельно, вбивая слова одно за другим и как бы приколачивая его к позорному столбу, сказала: – Ты видел Бекета.

– Ты что – была свидетелем?

– Не была, но знаю. Чувствую.

– И что тебе еще подсказывает твое... чувство?

– Что у вас с ним произошло?

– А что ты так волнуешься? Он кто тебе – сват или брат? Вы с ним знакомы без году неделя, а можно подумать, что ты его знаешь сто лет.

– Его не знаю, но знаю тебя. Тебе как шило вставили в зад, едва он появился.

– Я что – обязан каждого встречного любить? В тайге охотников заработать много, меня на всех не хватит. А тайга не место для прогулок, здесь ненароком голову можно свернуть.

– Пропади она пропадом, такая жизнь! – выдохнула она. – А я-то, я-то...

– Что – ты-то?

– За тебя держалась, как за мужика!

– И сколько же ты мужиков насчитала?

– Тебе какое дело?

– Что ты мелешь? Ты в своем уме?..

– В своем, в своем... Я ведь тоже живая. И хоть проку от тебя в постели ни на грош, но я жена твоя, и с тобой разделяю не только постель, но и всю твою жизнь. И вина моя лишь в одном, что повсюду таскаюсь за тобой. Подумать только! Всё могло быть иначе... всё должно было быть иначе. Но пришел и увел – будто корову купил. Знать бы, что там в душе твоей темной лежит?

– Много будешь знать, скоро состаришься. Иди к своим казанам и кастрюлям. Но не забудь: палка научила медведя молиться. И на балалайке играть.

– Спасибо, что предупредил.

– Тогда запомни: тайга не любит тех, кто поперек. Она им живо обламывает ребра.

Жакуп ушел, громко хлопнув дверью. И осталась Леся одна посреди изваянной из сучков и колдобин нечисти лесной, которая, казалось, заглядывает не только в глаза, но и в душу...

2

...Что-то рысье было в том взгляде, холодном и неотступном. Взгляд пропитал Жакупа насквозь. Стоило закрыть глаза, и два зеленоватых рысьих огонька смотрели на него в упор. Он и к стене отворачивался, и на спину ложился, но и с потолка – всё тот же ненавистный и ненавидящий взгляд. Ни во сне покоя, ни наяву. И вот настал тот миг между сном и явью, когда хоть караул кричи.

Он поднял голову.

Бензин кончился. Движок, закашлявшись как чахоточный, заглох. Подслеповатый луч, что, мигая, светил в окошко, поглотила беспросветная тьма. С улицы в стену бился башкой неразумный дождь, а изнутри всю избу сотрясал храп Мишеля. Жакуп с трудом сдержался, чтобы не пнуть его в жирный зад. Тварь ненасытная: жрет как в прорву, у него хоть какие-то другие есть заботы?..

Леся в избу не зашла. Стоило ему подумать о жене, как рысьи глаза опять замерцали в темном углу... «Где Бекет?!»

Если бы он знал заранее, что ему зададут этот вопрос, ни за что не стал бы связываться с таким-то делом. Снова уронил голову на подушку. Теперь казалось, что рыдавшие окна вперились в него, причем всё с тем же неотступным вопросом: «Где Бекет?..» Казалось, кто-то ходит, чавкая грязью, за стеной. Вот ближе, ближе. Подошел к двери... Даже если бы сейчас раскрылась дверь и вошедший из ночи уставил бы на него ружье, было б много легче. Но скособоченные двери

были немые. Пробился новый звук: с карниза падали капли, долбя в земле лунки. Его пробрал холодный пот. Да что это, Господи, с миром творится?!

Целую неделю он отпускал Лесю и парней пораньше на заимку. Сам же, будто копейку искал, обрыскал все косогоры Жындысая, все его пещеры и ущелья. Подолгу ходил берегом Бухтармы, но человек как в воду канул... Вот именно: в воду канул. Утонул? Но вслух он не решился сказать такое.

У их бригады было символическое название – «Дружба». Ну, дружбы и согласия там отродясь не было, но теперь, как исчез Бекет, и вовсе началась чересполосица. Нет, но, говоря по правде, Бекета он не убивал, и чтобы руку на него поднять – да не было такого... Мало ли что могло случиться! Мало ли людей гибнет зимой в снежных лавинах? То есть неизвестно, что случилось, но в том, что случилось, конечно же, виноват сам Бекет. И вроде бы всё яснее ясного, а чертова душа мается, не находит себе места. Если жена – и та взбунтовалась, то где гарантия, что и Бескемпир не выкинет какой-нибудь конек, не начнет пренебрегать бригадиром. Да-да, Бескемпир, с которым он, Жакуп, в доброе время на одной поляне оправляться бы не стал... Он думал о том, что сколько людям ни делай добра, а благодарности от них не жди. Все эти десять лет он стоял за бригаду горой, из глотки вырывал то, что положено, но что не так-то просто взять. Он делил хлеб-соль с людьми куда бывальыми, в поисках которых милиция и прокуратура, поди, с ног сбились, но никогда ни к кому не лез он в душу с расспросами, никогда не спрашивал у человека, кто он такой. И у него никто не спрашивал. Он вдруг осознал свое глухое одиночество, обида накатила на него и, словно хороня самого себя, он сказал в сердцах:

– Собаке собачья смерть!

– Не трепись! – живо откликнулся Мишель.

«Спит и во сне мух ловит, – Жакуп от безнадежности прыгнул с нар. – А может, он не спит – притворяется?». Нет, спит. Из его дубленой шкуры сейчас хоть ремни вырезай, не почует, не пикнет. Ни дать ни взять –дохлый, вонючий шакал!..

Жакуп вышел во двор, полный решимости взащей загнать Лесю домой. Но ее нигде не было видно. Он вернулся в избу. Железная бочка, приоткрыв дверцу, показала свою красную пасть, будто хотела укусить за ногу. Он долго стоял у печи, полы мокрой одежды на нем начали тлеть. Он сорвал ее, бросил на нары. Одежда пахла прелью и потом, и он сам себе стал противным:

– Вонючая тварь!

– Не трепись!

Мишель будто ждал его реплику, но и Жакуп уже не мог больше укрощать свой нор и, срывая злость, пнул Мишеля по толстому заду, а сам припал разгоряченной грудью к подслеповатому, заплаканному окну. Мишель не от боли, а скорей с перепугу проснулся. Голый волосатый бригадир у окна был страшнолюден и спросонья показался Мишелю самим сатаной.

– Нет, они все... все подряд сдурели!

– Не трепись! – Жакуп вернул ему скопившийся должок.

Ошалевший, ничего не понимая, Мишель зевнул во всю пасть и полез искать спички.

– Что – мимо рта пронесешь? – Жакуп повел головой в сторону канистры, и Мишель осклабился как лошадь, которую хотят угостить кусочком сахара.

Он решил, что от гнева Жакупа лучше всего отделаться смехом. Но смеяться, как все нормальные люди, он не умел – хоть ты пристукни его, не умел, и всё тут! Смех у него был жуткий, идиотический и выбивал из колеи даже тех, кто хорошо его знал. Поэтому в моменты затруднений, когда надо было повиниться перед человеком, полебезить перед ним или сменить опасный регистр в настроении собеседника, Мишель пускал в ход свой деланный смех. Рожа его при этом расплзалась как бы надвое. Один глаз лучился от подобострастия, щека оттягивала краешек губ, извывая готовность хоть задницу лизать того, от кого он в тот момент был зависим. А другой глаз был холодным и зол как у Мефистофеля, да плюс закаменевшая щека, красноречивей всяких слов говорившая о том, что он тебя кроет почем зря до седьмого колена. В общем-то, ему было глубоко начхать на кого бы то ни было, ни горе чужое, ни радость сторонняя пробиться к нему не могли. Но смех тот можно было трактовать двояко – и как заискивание, и как угрозу, но человека он с толку сбивал, и это был конек Мишеля, на котором он удачно обскакивал грозящую ему опасность.

Жакуп, еще не оправившийся от смеха Мишеля, услышал хлопанье, причмокивание жадных губ, присосавшихся к краям посуды, вода шумно булькала в безразмерной глотке, и казалось, что ненасытное горло никогда не утолит свою жажду. Тьфу ты, пропастина какая – напиться никак не может!..

Что такое тяжелый физический труд, Жакуп узнал рано, когда еще не окрепли ребра и плечи не развернулись во всю мужскую статью, готовые принять на себя любую нелегкую ношу. После изнурительной работы, бывало, дрожали от слабости руки и ноги, но никогда он не унижался до обжорства. И мог ли он предположить, что однажды ему доведется делить кров с таким вот ненасытным пузом. Добро бы время было голодное, так ведь нет же, нет! А он, ты только глянь на него, готов пичкать свою утробу чем ни попадя, причем круглые сутки. Тайга – может, она всему виной? Глухомань, никаких интересов, только брюхо набить да мошну... А может, деньги, деньги – в них все зло? Это жуть, до чего Мишель жаден к деньгам!.. А сам? Чем ты сам лучше Мишеля, чем ты отличаешься от него? Разве что тем, что командуешь пятью людьми. Хотя... сколько там в месяц выходит? Четыреста-пятьсот рублей. Так чтобы заработать их, не обязательно в такой бурелом забираться. И потом... у тебя нет даже семьи – в полном смысле этого слова. Были бы дети, другое дело. Одевать-кормить, уму-разуму учить, да чтобы всё было не хуже, чем у других. Но детей нет. Какой же смысл тянуть жилы и прозябать в холоде и неуют? Жил бы себе в теплом доме, нежился в мягкой постели, работал бы в строго определенных часы. Так в чем же дело? Каждый год клянешь свою судьбу: «Чтобы я сюда вернулся снова? Да ни за что!..» Но – возвращаешься. Город не по нутру. Тесно. И, как ни странно, в многолюдье – одиноко. А здесь – простор, и опять всё то же одиночество. «Вот умру я, – говорил отец, одноглазый чернущий старик. – И знаешь, о чем жалею? Что нельзя с того света вернуться обратно и глянуть: как ты тут живешь без меня? Не обрыдла ли жизнь тебе?..» Провидец. Каждый раз, как тукнешь топором невпопад, отца вспомнишь. Это как наваждение.

Карадио – черный дьявол – во как люди прозвали отца! И дело не только в том, что он одноглаз, безух и устрашающе черен. Упрямства был старик необычайного. И строгости. А портрет еще тот! Шей нет, на широченную грудь посажена лысая, как бритый арбуз, голова, под густыми бровями – насквозь прожигаящий

глаз, причем единственный. Ну чем не дьявол из волшебной сказки? Сюда же отнесем громадные кулаки, непомерно длинные руки и подсакивающая, будто у грифа, и вроде как боком походка – ощущение было такое, будто он не просто ходит, а насакивает на людей. Видок еще тот! А ему – плевать, он никого выше себя не ставил, ни с кем ни считался, и даже не здоровался ни с кем по-людски. В квартал жатаков¹ на окраине города чужих просто так не пускал, женщины у него не смели высовывать носа дальше порога, да и мужиков не очень-то жаловал. Даже своего единственного сына, которого он выпросил у Господа Бога, едва не свихнувшись от молитв, даже своего Жакупа он гонял, как сидорову козу: если кормил, то как на убой, если работать заставлял, то до посинения. Он никого не отпустил по своей воле, но у него никто ни от кого не зависел – ни при царизме, ни при социализме, он один сумел выкормить целое племя жатаков. Всех своих домочадцев он держал в черном теле, никого не выделял: на всех надел один хомут, всех погонял одним кнутом. Породил тебя я, говорил он, но породил по образцу и подобию Господа Бога, а потому ищи свой путь: не хватает смелости – будь упрямым, не хватает гордости – будь изворотливым. Такие вот наставления. Но так ли уж много он перенял из поучений отца?..

– Пей, – сказал он Мишелю.

Тот умоляюще глянул на Жакупа, и в глазах его появилось отчаяние.

– Что – нажрался? – сказал Жакуп.

У Мишеля не хватило сил даже поднять подбородок от края стола. Жакуп вырвал у него из рук чашку со спиртом, отставил ее в сторону, брызнул ему в лицо водой из тuesка. Тот никак не отозвался на это. Капли воды, стекающие по щекам и подбородку, походили на слезы. Казалось, он плачет, хотя лицо его не выражало никаких эмоций – уже не в состоянии было выражать.

– Даже собака, глотая кость, смекает, как выйдет она у нее из задницы. А ты?..
Смотри, не околей зазря.

Сам не околей, подумал Мишель. Чувствовал он себя скверно. Спирт встал поперек горла, а когда его удалось проглотить, подкатило мучительное чувство голода. К этой заразе его не очень тянуло. Если ставили перед ним рюмку, не отказывался. И то когда спускался вниз, на отгул. Тут уж ничего не поделаешь, кодекс чести «дикой тайги»: перевернуть вверх дном всю наличность бутылок, какие есть в магазинах. Да и пил он не столько ради того, чтобы выпить, а ради того, чтобы в ответ самому угостить – знай, мол, наших. Не угостить – будешь белой вороной, а уж если угощать, то хоть сдохни, а переплюнь соперника, пусть ради этого придется вывернуть карманы. Тут, чей рубль длинней, тот и будет среди князей. Иначе что? Иначе ты чужак...

Случилось, в бытность с отцом приложился он к рюмке, тот в зачатке пресек это зло, заставив отступившегося клясться на Коране, страшая карами Аллаха. Ну, как после выяснилось, ни святость Корана, ни кары Аллаха не могли отпугнуть зеленого змия, единственная сила, перед которой пасовал сей порок, был сам Карадию. А от угроз святого писания и от проклятий Господа Бога никто еще не поперхнулся рюмкой, никому не покорежило ни кожи, ни рожи – разве что человек допивался до зеленых чертиков и начинал от них отбиваться. Но белая горячка числится, как известно, не по религиозному ведомству, а по медицинскому...

¹ Оседлое население, беднота (они не выезжали на джайляу из-за отсутствия средств передвижения, скота).

Жакуп вскочил со стула, невыносимо жгло затылок, в голову ударила кровь. Покачиваясь, отошел от стола, с трудом сообразил, где же дверь. На то, чтобы найти сапоги, его попросту не хватило. Волоча попавшийся под руку брезентовый дождевик, добрел до порога, по-бычьи боднул дверь...

Белый вихрь ударил в лицо. Вроде бы и не темно, но и не видно ни зги. Между пальцами ног выжималась мерзлая грязь, и он понял, что идет по земле. Лицо запрокинул в небо. Кружение дождя и снега, как заклинание знахаря, вернуло ему силы, дышать стало легче, и боль, что била в виски, отступила. Мозг протрезвел, и ему стала ясна задача: понять, что это был за хруст шагов, которые всю ночь раздавались под окном, выследить, кто петлял вокруг дома. Всё объяснилось тут же и было до наивности простым: по желобу с крыши скатывались капли, долбя в земле лунки. Но слышались еще какие-то звуки, он пошел на них, оступись, упал. У самого уха послышалось скрежещущее: «кырт, кырт!». Кто-то злорадно дышал ему в затылок: «Трепач, тре-пач!»

Обычно, когда ему становилось неважно, он старался сбежать в безлюдное место, чтобы наедине с самим собой разобраться в своей душевной смуте. Скрыться с людских глаз было тем более необходимо, что ему казалось, все вокруг осуждающе и выжидательно смотрят на него, будто он всем им чем-то обязан и пытается увильнуть от этих обязательств. Наверное, и сейчас физиономии этих пятерых собригадников, людей, в общем-то, обделенных жизнью и несчастных, тоже ему осточертели, даже собственная жена вызывает омерзение, и в нем пробуждаются дурные и нелепые, быть может, подозрения, но ничего с собой поделать он не в силах. Говорят, человек человеку – друг. Ну-ну. Это про них с женой сказано. Семья будто клетка, из нее никуда не сбежишь, и люди живут в этой клетке словно бы только ради того, чтобы есть друг друга поедом. Пред ним опять вспыхнули два ненавистных рысьих глаза.

– Сука! – сказал он.

Впервые он ее материл. А глаза, не мигая, смотрели на него... Оказалось, стоял над ним мерин и грустно смотрел на него, и глаза у него в ночной этот недобрый час были прозрачными, как талые воды, и, казалось, стоит моргнуть ему, и они прольются ручьями слез по лошадиной жующей морде. Конь губами коснулся колена Жакупа, будто понукая его подняться с холодной слякотной земли. Но Жакуп упрямо продолжал лежать. И конь, разочаровавшись в его непослушании, тяжело вздохнул и дальше стал пережевывать кисть ковыля, зажатую в губах.

– Жуй, – разрешил ему Жакуп. – А чего тебе еще осталось делать? Шевели себе губами да тащи свою поклажу за собой.

И теплые губы лошади опрокинули его в детство – в суровую, но желанную сказку. Когда-то он готов был часами следить за тем, как лошадь жует сено. У отца было единственное богатство – вороная кобыла с жеребенком. Сколько раз в свои мальчишьи годы Жакуп верхом на ней встречал рассвет, а сколько раз засыпал, уткнувшись ей в гриву!..

Едва начинались вечерние сумерки, Карадию седлал вороную, напутствуя сына: «Смотри, спину ей не натри. Да не вздумай подсаживать кого-нибудь. Понял? Не смей искать попутчика. Одинокого Бог бережет». И отправлял его в ночное, на выпас, и было видно, как старик стоит, сторбившись, смотрит вслед, пока лошадь не исчезнет в высоких травах вместе со своим маленьким седоком. Мальчонку

по-первости пугал пронзительный взгляд одноглазого старика, который, казалось, прожигал рубашонку на тощей спине. Но еще больше его пугала темная чаща у речного берега, где гнезилось уже недалекое марево ночи, ему казалось, что вороная кобыла везет его в ад, и от ужаса он начинал плакать. А старик нет бы ободрить его, начинал орать ему вслед:

– Хлюпик! Ведро дырявое, а не пацан, – и бросал презрительно: – Карашелек¹... Я дурь из тебя выбью. Я сделаю из тебя джигита...

...Он засыпал. Просыпался. Сплошная белая мусть как бельмо застила глаза, так что и неясно было, проснулся он или продолжает спать. И ни голоса, ни резкого звука, чтобы вспугнуть, прогнать сон. Потом то ли филин вскрикнул в ночи, то ли чабан на заимке для острастки волков, спросонья Жакуп не понял, но в ушах и после пробуждения остался лишь неприятный отзвук. Светало. Проступил силуэт избушки, осевшей как блин коровьего помета... Движок, будто понурая собачонка у двери. От стоявшего рядом мерина нестерпимо разило потом. Его куцый хвост, за годы и годы затвердевший от перхоти и напоминавший дубинку, сейчас отмок, курился паром. И хотя Жакуп продрог, но мучила жажда. Он подставил было рот под грузные капли дождя, но у них был прогорклый привкус. Единственным, что примиряло его с этими неприятными ощущениями, было то, что острый дух сена перебивал запах пота, неся невыветривавшиеся за зиму ароматы трав, скошенных в самом соку.

...Когда-то желтые тюльпаны и клевер сплошной кошмой покрывали пойму реки. Тускнеющие отблески заката окутывали долину золотистым маревом, она переливалась в тумане как шитый бисером атлас. Глаз отца буравил ему спину, и он прищипывал лошадь не столько уже от страха, сколько от отчаяния, чтобы избавиться от этого жжения между лопатками. Он въезжал в долину, страх улетучивался, и он, опуская поводья, стремительно несся по своим шитым золотым бисером цветов владениям. Жеребенок плутал среди высокой травы и пронзительно ржал, и надо было остановиться, подождать, когда он выберется из пахучего травяного лабиринта. Был Жакуп в этот час здесь не один, кой-где виднелись редкие фигуры стариков с косами и вилами через плечо, но они как раз уходили с покоса, и он до утра становился единственным хозяином желтой долины. Страх кружил рядом с ним, и Жакуп, которого отец в сердцах припечатал недобрым прозвищем Карашелек, старался держаться поближе к заимке хромого егеря, что маячила на полянке ближнего леска. Карашелек не знал даже имени егеря. Заимка эта была тут с незапамятных времен, а хромой одноногий егерь – вместо второй ноги у него привязана деревяшка – был, казалось, древнее самой заимки. На ночь глядя и под утро он обычно прочесывал лес. Пока острый нос Большой Медведицы не упрется в макушку горы, он, приторочив к седлу деревянную ногу, вместе с Карашелеком объезжал вверенный ему участок. Старик при своей деревяшке и сам походил на замшелый таежный пень, был такой же рябой и заросший. Но старик был балагуром и шутником.

– Эй, курносый! Ты, случаем, не выглядываешь тут мою Лесю, а? Как зачем? Чтоб умыкнуть невесту! – он говорил это на полном серьезе. – Ты передай отцу: пусть готовит калым. Денег я не возьму. Вороная кобыла – ее пусть отдаст за невесту. Иначе откажусь быть сватом!

¹ Черная кадушка.

У егеря была молодая и очень красивая жена. Сыновей у него не случилось, одни дочери, да все такие разные и на старика никак не похожие. Злые языки наговаривали, что все эти девчонки – шата, то есть она ему их нагуляла. Ну, на чужой роток не накинешь платок, так оно было или нет, но Леся – самая красивая из дочерей егеря и младше Жакупа на шесть лет.

Отец слишком поздно его отдал в школу – боялся, что от непосильного учения его Карашелек свихнется. Скорее всего, ему нужен был помощник по хозяйству и в результате парню пришлось сидеть за одной партой с сопляками. Но это не помешало ему уже тогда отметить, что дочка у егеря действительно красивая, за такую и единственную вороную кобылу отдашь, не раздумывая. Отец с егерем тесно общались, были в друзьях. Но после того как Карадию отсидел полгода в тюрьме за то, что егерь составил на него акт о воровстве леса, отношения между их семьями стали холодными. Карадию мог бы откупиться штрафом, но он и штрафа платить не хотел, потому что никак не мог понять, какое отношение к лесу, выросшему по божьему хотению, имеет государство, а хромой егерь так и не сумел втолковать ему, вбить в его упрямую башку, что государство посильнее Бога...

Когда переваливало за полночь, мальчишка налаживался ждать егеря, без которого ему никак. Горизонт на востоке темнел, а на западе всё оставался узкий просвет, как осоловелые глаза человека, которого мучит бессонница. Скоро наступит короткая, но страшная ночь, потому что, если напролет всю ночь верхом, то колени устанут, ноги затекут, а самому слезть с лошади и размяться у Жакупа просто не хватит силенок. Сколько ж тогда проклятий обрушится на ни в чем не повинную вороную кобылу! Хоть бы она околела к той ночи!.. Нет, не околеет. И загвоздка тут вся не в кобыле, а в принципах Карадию. Он решил приучать сына к одиночеству и выносливости, заставляя его переносить и жару, и холод. Он требовал совсем уж невозможного, добиваясь от сына автоматизма действий, чтобы он – ночь ли, день – мог всё делать чуть ли не с закрытыми глазами. Если куда уезжал, и тут не оставлял Жакупа в покое, брал с собой. Что черное ведро для солидола, которое погромыхивало сзади брички, что Жакуп, участь одна. Ведро болтается, и он трясется тут же, на задке телеги. Потому-то и прозвище дали ему такое – Карашелек – черная кадка... Карадию был убежден: что голова задумала, рука должна суметь сделать. А как сделать, это уже дело твое, тут сам ломай голову, сам доведи до ума: «А ты думал как? Тебе разжуй да в рот положи. Э-э, нет, так не бывает. Коли гончая сама след взяла, она лису не упустит. А уж если ты за уши гончую к следу притянул, едва ли толк будет».

У него была слабость к страдальцам. Неважно, из-за чего человек пострадал: по собственной ли глупости, а может, подлости, или за правое дело – в силу своей прямооты. Тут сказалоь то, что он сам побывал в тюрьме. Хотя единственным приобретением его, пока он «отдыхал» полгода за решеткой, был его же собственный портрет. Он в своей жизни ни разу не фотографировался, и скорее не по религиозным соображениям¹, а потому что считал себя не очень-то фотогеничным. Вообще к портретам, особенно вождей, он относился с почтением и опаской, а потому аккуратно собирал газеты и журналы, где были напечатаны фотографии государственных мужей, чтобы, упаси Аллах, не вздумали их утащить в туалет для совсем уж низменных нужд. Собственный портрет, который он получил,

¹ Графическое изображение человека мусульманской религией запрещено.

побывавши в тюрьме, его крайне заинтересовал: то ли он ужаснулся своей внешности, то ли восхитился ею, но охотно рассказывал о том художнике, который создал этот шедевр: «Вмиг нарисовал. Я глазам своим не поверил. Талантливый человек!» И дальше следовал категоричный вывод: «Все талантливые люди сидят в тюрьме». За те злополучных полгода он не принял ни одной передачи, отверг все свидания с родственниками, никого не желая утруждать, ни перед кем не желая унижаться. Отсидел положенный срок, тихо-мирно вернулся и, никого ни в чем не виня, жил как прежде, будто ничего в его жизни не произошло. Внешне отец не изменился, но Карашелек чутьем, какое бывает у детей и животных, сразу же почувствовал тот тревожащий, свирепый дух, который принес отец с собой и который делал его чужим.

От него вообще исходил не похожий на других людей запах. Может, не в запахе дело – может, сам он слишком уж не походил на других людей?.. После того как жена, одарив его сыном, перестала рожать, родственники встревожились: возьми, мол, как положено, токал, на что он им решительно ответил: «Не гневите Аллаха!» И пояснил: «Я сына у Господа Бога просил? Он пошел мне навстречу. Потом я ждал, когда он душу мою возьмет. Не взял, даровал мне пожить еще на белом свете. Неужто мне этого мало?» И до самой смерти ни в чем не попрекнул жену.

Ел он мало, но в еде был привереда: вчерашнюю еду не принимал – подавай только свежее. И вороная кобыла была под стать хозяину капризна в этом деле. Траву щиплет с разбором, не всю подряд, и упаси бог заарканить, треножить ее при этом. Не прикоснется к травке, всю ночь простоит не шелохнувшись. Потом жди неприятностей. Карадию, мельком лишь глянув на кобылу своим всевидящим оком, вмиг устанавливал, что вернулась она из ночного не солоно хлебавши. Нет, он не ругает Карашелека, не бьет его, он просто сует ему в руки торбу с овсом: проголодалась, мол, лошадка. И за столом дает ему особую, отдельную от всех команду:

– Ешь!

И всё внутри у пацана обрывалось. И не успев дотянуться ложкой до еды, он откладывал ее в сторону, сам себя наказывая голодом. Потому что отец не разрешал таскать куски, а если уж накрывали на стол, то сразу для всех, и если не поел со всеми, ходи голодный...

Как только на луг падает роса и начинает тянуть сыростью, вороная начинает тащить Карашелека туда, где суше. Он же дергает за уздечку так, чтобы поближе быть к займке. И пока они выясняют отношения, стараясь каждый тянуть в свою сторону, рыжий жеребенок пристраивается к вымени матери, хотя ему там мало что перепадает. Как и дочери хромого егеря, жеребята вороной не хотели на нее походить. Все они, лишь стукнет им полгода, становились плюгавыми и низкорослыми, и Карадию их тотчас же пускал на мясо. Но как бы он ни кичился своей кобылой, а каждый раз, когда она была в охоте, он начинал упрашивать подслеповатого Жалгабая, сборщика утильсырья, чтоб тот одолжил ему плюгавого жеребчика из-под дуги. А где взять его – хорошего жеребца? Нету их. Время такое, не каждый кобылку имеет, не то что жеребца-производителя. Жалгабай начинал привередничать: «Полста рублей за покрытие!» Карадию плевался: «Он слова доброго не стоит, твой плюгавый». На что ему резонно отвечали: «Поищи другого». И он, бывало, уводил кобылу, не сговорившись: «Пусть лучше матка у ней высохнет, чем приду к тебе снова!» Потом сходились всё же на сорока руб-

лях, а сделавши дело, на прощанье бросали друг другу от переизбытка чувств: «Слепой пройдоха!» Хотя тут оба были хороши: у одного правого глаза не было, у другого – левого. Только и разницы, что у Жалгабая с детских лет бельмо, а Карадио лишился глаза во время кокпара от удара кнута, что было как бы боевой наградой и служило хорошим козырем: «Ты, бельмастый! Тебя Господь Бог в утробе матери отметил». На что всегда готов был ответ: «А тебе эта кара господня – за коварство и злость!..»

Ворона, видать, не любила жеребенка – за низкое происхождение его. Лягнув его, грызнув за ляжку, отгоняла прочь постылого. Была она упрямой и вздорной, как ее хозяин. Из ячменя по зернышку выбирала овес, из навильника по травиночке выберет сено, с презрением отвергая плову. Ну, а груз везти – это уж в зависимости от куража, иной раз отвергнет даже поклажу, посильную стригунку.

...Наверное, в тот вечер хромой егерь был занят ужином, никак не появлялся, и Карашелек сам подъехал к его тихой заимке. Полосатый спаниель даже не тявкнул. Он обошел два-три раза вокруг заарканенной гнедой, она бестолково топталась на месте и надоела собаке. Пес зевнул и ушел в дом. Впрочем, рядом у коновязи стоял саврасый иноходец директора лесхоза. Значит, у рябого егеря сегодня гость, и он решил ослабить бдительность, не объезжать своих владений...

Над оградой из прутьев возвышались желтые шляпки подсолнухов, они заворожено смотрели в сторону заката, на усталое, угасшее солнце. Яркие маки и нежно-фиолетовые цветы картофеля смотрелись вызовом старой осевшей избе, сараюшкам в хлеву, заваленным навозом, он был словно ковер, наброшенный на ишака. Карашелек долго стоял, и поскольку егеря не было во дворе, он пересчитывал его свиней и поросят. Во время этого удивительного занятия зашевелились метелки конопляных зарослей и цветущего репейника...

Она была еще совсем девчонкой, но каждый раз, когда он видел ее, сердце ёкало, и хотелось не смотреть в эти синие глаза, и не смотреть в них было невозможно. Он сошел с коня и, как полагается джигиту, вежливо поздоровался с Лесей. Он не дичился ее, не чурался, но и не гоношился перед ней. Хотя они, что говорится, седлали с ней одну парту, да и учебники с тетрадками нередко путали. Он не видел ее с весны и сейчас удивился тому, как она выросла, и в голенастой девочке-подростке вдруг проглянула нежная девичья суть: ее вечно лохматые пахнущие хвоей желтые волосы сейчас были причесаны на пробор, заплетены. Она всегда ему казалась курносой, а тут появилась горбинка, она придала лицу завершенность, как и ямочка на подбородке. А ее синие смешливые глаза стали излучать неведомое прежде сияние. Он и обрадовался, и втайне оробел, но он был парень и старше ее на шесть лет, а это обязывало быть грубоватым.

– Пришла? – иронично спросил он.

– Пришла, – пожала она плечами.

– Зачем?

– А просто так.

– Где отец?

– В чулане лежит.

– В чулане? А он что там делает?

– А ничего. Спит. Пьяный вусмерть. Ногу потерял. Директор совхоза взвалил его как куль на лошадь и привез.

– Он-то зачем приехал?

– Почем мне знать, – отмахнулась она. – Приехал, напоил папу медовухой, тот снова дрыхнет, а этот и не думает уходить. Велел маме затопить баню. Она ему спину будет массажировать.

– Может, он тут заночует?

– Не знаю, – беспечно ответила девчонка. – Мне тут велели поиграть. Вот я и... играю.

– Поехали со мной...

Директора лесхоза Карашелек тоже знал. Говорят, верблюду ведомы только листья – откуда они растут, ему наплевать. Верблюду может быть, но даже Карашелек знал, что в истории с его отцом слепой егерь был только ширмой, а засудил его директор. Ничего не скажешь: видный, красивый мужик. Джигит из джигитов – силач Сигат, богач Сигат. Франт, кутила и сердцеед. Зимой в кошевке, летом в легком тарантасе он, что ни праздник, заливаясь колокольцами, летел будто на крыльях в город. И там – о, там разворачивался всюю! Перво-наперво спаивал всех, кто подворачивался под руку. Второе? Все призы и награды, к досаде местных жатаков, забирал-завоевывал он – и только он. Продувался, понятное дело, подчистую. Но брал в руки карты, и тут уж все продували ему. А он, сорвав куш, исчезал, улетучивался под звон залиvistых и шальных бубенцов. И никто ему перечить не смел. Карадию рыпнулся было, сцепился с ним. И что? Узнал, почем фунт лиха, боками опробовал тюремные нары. Говорят, что будто за картами, когда Карадию продул все деньги, Сигат предложил ему сделать последнюю ставку – снять штаны в случае проигрыша. А в ответ оскорбленный жунак¹ будто сказал ему пару ласковых... Говорят, что Сигат, прослышав о красавице, ястребом налетал, расплавляя сердце женщины вместе с ее позвонками. Говорят... о, много чего говорят!..

– Мать не станет искать?

– Не знаю, – передернула плечиком девчонка. – А ты не боишься?

– Чего?

– Не меня же! Ну... один все-таки... Ночь...

Если б она хоть шаг сделала в сторону дома, он тут же уцепился бы за нее. Но дома ей было делать нечего. И он заважничал, разыгрывая взрослого:

– Я тут до утра. Верхом.

– Ну и я до утра, – сказала она.

– Пожалуйста. Жалко, что ли. Ночь длинная.

– Ой, ой! Можно подумать, что ночь – твоя. Вроде этой кобылы.

Нет, не мог он больше противостоять этой умной девчонке... Потом хождение в заимке затихнет, рассосется удушливый черный дым бани, она топилась по-черному, и послышится игривый женский голосок:

– Ле-ся!

И чуть погодя еще раз:

– Ле-ся!..

И в голосе том ни тревоги, ни строгости: дескать, хочешь – иди домой, не хочешь – как хочешь. Отец говорил: «Бедняку щегольство, как корове седло – ни красоты, ни пользы». И слушая, как тает в вечернем воздухе беспечный женский голос, он представляет себе, как красивая жена егеря вьется змейкой перед ди-

¹ Безухий (каз.).

ректором лесхоза, охорашивается, чуть ли не пляшет перед ним, лишь бы ему угодить. А Леся, почувствовав, что мать звала ее на всякий случай – так, между прочим, спряталась за парня, стояла, не шелохнувшись... Потом началась ночная песня кузнечиков, она разливалась вдоль всей речной долины. Потом перепел с чибисом затевают громкую перепалку, до хрипоты стараясь перепеть один другого, и это длится долго, и можно беззвучно стоять рядом и слушать их, и неотрывно смотреть в глаза друг друга. Вороная тоже замерла, отдыхает. И весь мир оцепенел, затих в покое. Со стороны речки изредка доносится рев парохода, от пирса разбегаются огни, они посверкивают в прогалах леса, будто между стволами деревьев бродят лешие с фонарем. Один огонь был особенно ярко, и парню показалось, что это глаз Карадию. Тогда он вспоминает про кобылу, нащупывает рукой уздечку, и к нему подкрадывается страх от темноты онемевшей ночи. Казалось, этой черной немоты боится не один Карашелек, но, затаив дыхание, притихла вся округа. И даже круп земли покрылся холодным потом, на луга лег морозный иней, и по спине побежали мурашки. Казалось, даже звезды дрожат от испуга и холода, еще минута, и не выдержат они там, в поднебесье, сорвутся, упадут на голову холодными каплями страха.

Первой на лошадь садилась Леся. Кончик верблюжьего потника и ветхая шубенка Карадию доставались ей. Потом взбирался он, и она крепко обнимала его сзади, не разжимая рук, боялась упасть. Он чувствовал спиной тепленькую грудь девочки, и страхи уходили, было просто не до них, потому что то и дело он ощущал спиной касание двух маленьких бородавочек, и это согревало не только спину, а и все тело бросало в жар. Потом он сам, забыв о смущении, начинал лгнуть спиной к выступающему мягкому животику девочки, и это будило греховные мысли. А сопящий носик Леси то и дело тыкался ему в плечо, еще больше бередя и вызывая нестерпимое желание обернуться и поцеловать ее. Но вместо этого:

– Ты не заснула?

Голос его звучит почти равнодушно.

– Нет, я не сплю.

– Тогда сиди прямее.

– Еще чего!

– А я тебя ссажу.

– А вот и нет!

– Ссажу.

– Попробуй. Я и не гляну тогда в твою сторону.

– Ну и не надо! Нужна ты мне...

– Да сам же первый прибежишь!

И вороная начинала вскидывать задком: мол, перестаньте. Тут повинны во всем были длинные Лесины ноги, они озябли от холода, и она старалась спрятать их в теплый пах кобылы, что вызывало у той недовольство. Карашелек со спины заворачивал с крупа лошади дальний конец верблюжьего потника, еще сильней прижимался к мягкому маленькому животику за спиной и начинал поглаживать ледяные ножки Леси, пытаясь их согреть. Она сначала брыкалась, громко смеясь, пугая ночную тишину, затем, уткнувшись носом в плечо Карашелека, затихала. Дремлет? Уснула?.. Бархатная ночь без закутка, где можно было бы пригнуться, была безграничной как море, и вороная кобыла паслась сама по себе и укачивала их, как лодка без весел, плывущая по воле волн.

«Вот стану шикарным джигитом, будет у меня быстрый, как ветер, конь. И запрягу я его в легкий тарантас, и подлечу к крылечку Леси...»

– А где твои ботинки, Леся?

– Носок продырявила...

– На тебе всё горит! Они ведь новенькие были...

– Были. А стали старенькие. Если не продырявлю, не покупают новых.

– На это же денег отцовских не хватит!

– Директор лесхоза купит, – беспечно бросала она.

– Как же! От него дождешься...

– Дождусь! А пока ты грей.

Он с возмущением отпускал ее ножки, но привыкшая к теплым ладоням быстрая девчоночья ступня, деловито шаря, находила его руки, и он, чтобы ей не поддаться, пришпоривал вороную. Она нехотя взбрыкивала и продолжала пасть, идя в сторону селения. Потом останавливалась как вкопанная. Это был ее предрассветный отдых. И можно быть уверенным, как вот сейчас, не запаздывая, из-за края земли покажется первая полоска света.

Сонная девчонка, крепко-накрепко обнявшая Карашелека, спросила:

– Ты будешь приходить ко мне, когда вырастешь?

– А зачем к тебе приходить?

– Так, просто... Приходи, как сейчас.

– Как это делает директор лесхоза?

– Н-нет, – смутилась девочка. – Когда я вырасту, я выйду замуж за тебя... У нас будет дом... У нас будет много детей. А потом...

А что потом, она не знала. Да и кто задумывается в их годы над тем, что будет потом? Карашелек еще не хлебнул, как говорят, горячего до слез, он не знал, не ведал, каким оно бывает – горе. Он ежился от предрассветного холода, мечтая о теплом очаге, о теплой постели, осторожно гладил рыжую голову уткнувшейся носом в его затылок спящей девочке и думал, что была бы только Леся рядом – нет у него другой мечты и не будет.

...Бригадир проснулся от испуга. Нет, не взгляд рыси, а небесно-голубые глаза Леси в упор смотрели на него. Мерин, зажав губами пучок ковыля, замер, не смея жевать. Светало. Он был мокрый насквозь. Ныли кости.

– Помрешь ведь, – сказала она.

Виднелся силуэт избы, прилепнутой, будто коровья лепешка. И уже случилось в его жизни и очаг, и стеганое одеяло, но не было в них тепла. Случилось и то, о чем так мечталось: Леся была рядом. Он посмотрел на нее и без всякой радости сказал ей:

– Сука!

Глава пятая

1

Бекет удивился быстрой ходьбе Асеке. Выйдя из Аюлы, тот мог за день не только одолеть Жаманай заодно с Жандысаем, но и спуститься в Котанагаш. Что ж, у егерей особая закалка: и зверя надо выследить, и браконьера не упустить, догнать. А сам Бекет пока дошел до Аюлы – рукой подать, макушка всё время перед глазами маячит – чуть ноги не протянул. Он хоть и любил побравировать,

что, мол, семь лет жизни отдал тайге, но, видно, тайга не выдала ему все свои секреты. Он долго плутал по извилистой впадине, заблудился, стал карабкаться вверх, но и на гребне хребта не нашел дороги. Сучья и ветки цеплялись за ворот, прошлогодняя трава хватала за ноги, он уж совсем выбился из сил, когда вышел на узкую тропку. Это было спасение, тем более что он увидел тут же свежие следы – кто-то прошел минут пять назад, сбивая иней с жимолости и калины по обе стороны тропы. Он устремился вперед, но шагов через десять нога провалилась в свежий помет медведя, и Бекет, как обожженный, кинулся назад. Вот так осознаешь, что жизнь твоя тебе небезразлична. Он никогда не слышал, правда, чтоб здешние медведи человека обидели, они даже скотину обходили стороной, но судьбу лучше не искушать, весной зверь голоден и агрессивен, тут лучше перебдеть, чем недобдеть. Бежал он с хорошей спринтерской скоростью, даже про боль в плече забыл. И бледен был, что называется, смертельно.

– Медведь за тобой гонится, что ли? – удивленно глянул на него Асеке. Он сидел на чурбачке, спокойный и невозмутимый. И он ничуть не удивился столь неожиданному появлению Бекета, не поздоровался даже, будто расстались четверть часа назад. Сидел и, вытянув губы, насвистывал какую-то мелодию. То есть – ну никакой реакции! Будто он вообще видит Бекета впервые, будто они не коротали ночь вдвоем в лесхозовском коттедже, не вели бесед и не сидели за одним столом.

– Да-а, так изойти потом! – сказал он, не удивляясь, а скорее констатируя факт. И снова засвистел. Впрочем, прервав художественный свист, дал совет, как следовало бы поступить: – Надо было сбросить штаны. Медведь сам отстал бы.

Штаны были не из тех, которыми разбрасываются. Джинсы, «made in USA», новенькие, с еще не отошедшим крахмалом. При чем тут крахмал, подумал Бекет, и вообще при чем тут джинсы? Это же явная издевка, намек? «Не наложил ли ты в штаны от страха?..» Ну и фрукт! Он и не смотрит на Бекета, косит глазом куда-то в сторону. А если быть конкретнее, то не куда-то в сторону, а на черногривого савраску. Бекет тоже уставился на жеребца, привязанного к яслям. Задние ноги саврасого были перевязаны тряпками.

– Что стоишь-то? – и он кивнул небрежно на сучковатую чурку красной лиственницы, оставшуюся нерасколотой с прошлого года.

Напоминание было кстати. Едва стоявший на ногах Бекет не сел, а рухнул на чурбак.

– Э-э, да кто же так садится? Ну вот, теперь любуйся сам...

Оказалось, что чурка сочилась смолой, Бекет едва отлепил от нее свою задницу. А этот леший, как ни в чем не бывало – сидит себе насвистывает. У Бекета даже не было сил возмущаться. Он лишь машинально и не очень кстати отметил, что мелодия вроде знакомая. Но невезенье с медведем, нывшее плечо, а теперь вот и смолистая мотня новых брюк слегка отвлекли, не давая путем сосредоточиться на мелодии, вспомнить ее.

Казалось, вредной был не сам Асеке, а его кривой нос. Ишь, как он опять повел им в сторону, будто Бекета в упор не видит. Что ж, ловит волк, но ловят и волка. Бекет повалил на бок чурку, уселся намертво. Поглядим, когда у вас в казанке забулькает водичка. Нам спешить некуда. А заднице сидеть не привыкать... И Бекет огляделся.

Во дворе было, как в норе суслика, множество всяких клетушек, сарайчиков, загончиков, они шли вереницей друг за другом. Стайка для овец, лошадиное

стойло, курятник, клетушка для уток и гусей и даже барак для зайца. Ну, а у собаки не будка – особняк! И лишь метеоснаряжению и приборам не досталось ни навеса, ни изгороди – то ли скотина почесалась, то ли ветром покосило, а стояли все эти барометры-ветрометры будто с похмелья, криво-косо, вразброд. И посреди всего этого многообразия торчал стандартный двухэтажный дом. Рубленый, разумеется. Так что – вот оно, отделение лесхоза Аюлы, во всем своем великолепии!.. Пожарное снаряжение разбрелось кто куда: в красном ведре питьевая вода, лопатка со щитка пожарного в огороде увязла, всё остальное по хозяйству приспособлено, и на щите осталось то, чему пока не нашлось применения – два ощерившихся крючьями багра да бесполезный в бытовых делах огнетушитель... У Асеке была служебная, как значилось по документам, лесхозовская квартира – в нее Бекету еще предстояло войти.

– День да ночь – сутки прочь, а там, глядишь, ненастье кончится, – и Асеке глубокомысленно прикрыл толстенную тетрадь, куда, по-видимому, заносил свои фенологические наблюдения, – пятнадцать дней ничего не записывал. А разве всё упомнишь? И снег, и град, и ливень... И тепло, и мороз... Ладно, чего теперь сидеть да жалеть.

– Мне нужен ваш сосед.

– Простите, сэр! Вначале перейдем на «ты». Засим: какой тебе сосед конкретно нужен – завфермой или лесничий? Лесничий пошел, как видно, на реку. Зачем? Поставить сети. А под прикрытием сетей проверить, цела ли там, на островке, его скотина. Понял? Ну, ничего, поймешь. А если у тебя к завфермой дело, то – вон ходит его заместитель.

Бекет впервые видел, чтобы женщина, живущая середь тайги, одна на много верст в округе, накрутила на голову бигуди. Комбинашка с прорезью едва умещала содержимое бюста у босоногой бабенки, рыжей и рябой, но молодой еще, а потому, водрузив на башку не менее тонны железа, она носилась по двору, преисполненная кипучих, деятельных сил. Она как раз перевернула красное ведро с надписью «пожар», вывалив его содержимое в корытце у одной из клеток. При этом что-то поет и жует, щеки со спины видно, будто их пчелы нажалили, а глаз не видать – жирком заплыли, Бекет как ни старался, а разглядеть глаза рябой и рыжей хозяйки таежного бунгало так и не сумел. Зато разглядел он свинарник – и на том, как говорят, спасибо. В невообразимо низкой клетушке лежали четыре дебелих свиньи и так же лежа – встать им некуда! – пожирали, чавкая и хрюкая, помои в корыте.

– А что – ваши соседи... пардон, твой сосед свиней держит?..

– До чего же ты наблюдателен! – Асеке внимательно изучил топографию лица Бекета, затем неторопливо закурил свою неизменную «Шипку», не отрывая глаз от кончика носа, выпустил колечко дыма. – А я уж подумал, грешным делом, что ты не имеешь представления о безотходном производстве. Это был бы большой пробел в ваших знаниях, товарищ главный лесничий. Нуте-с, нынче, как известно, образованные люди собак не держат – вместо них держат свиней. Те помои, от которых собаки воротят морду, сиятельные свиньи, извольте убедиться сами, лопают за милую душу. Да, у новичка непременно возникнет законный вопрос: отчего так низка келья наших свиней? На вопрос отвечаем вопросом: сможет ли спрашивающий встать на ноги, если поместить его под столь низкую крышу? Совершенно верно, не сможет! Это именно то, что требуется в данном случае.

Ибо свиньи не делают лишних движений, не тратят попусту столь ценную для них энергию, аккумулируя ее, так сказать, в столь нужное нам сало. Помои же, съеденные лежа, тотчас впитываются желудком. И хозяину остается лишь одно: как только выпадает снег, подогнать автокран, загрузить на скотовоз это чудо природы и оттартать его к агенту Аугенбау. И если каждый кабан не будет при этом раза в полтора тяжелее коровы, я принесу в жертву свой кривой нос.

Асеке заботливо посмотрел на Бекета, все ли тот усвоил, и выщелкнул новую сигарету.

– Но это лишь начало цикла. Ведь параллельно с откормом наша рыжая женгей, то есть заместитель завфермой, вытаскивает из-под свиней навоз, вывозит его тачками, складывает, а потом по мере надобности использует в качестве удобрения, выращивая огурчики и редис. Ах, какие это огурчики! А какой редис!.. Она их тоже попрет на рынок и продаст, причем не за дешево. Это вот и называется из дерьма делать конфеты. И это вот и есть то самое безотходное производство, над которым ученые который год ломают голову!.. Наш сволочь Ситан непрактичен. Он что? Он выкармливает бычков. А это хлопотно. Возня с заготовкой сена и прочих кормов, да надо пасти бычков, выгуливать. А здесь – никаких тебе лишних хлопот. Все гениально и просто... Учиться нужно передовому опыту, товарищ главный лесничий, учиться!

– Простите, Асеке, – потрясенный Бекет невольно заговорил по-киргизски. – Я не пойму: кто лесничий, а кто – завфермой?

– О-о, не надо вопросов! Тут бессильны слова, чтоб рассказать о таких наивных, ангельских душах. Это надо увидеть самому... Но, дай бог, подойдет сейчас – увидишь.

И он было начал опять же насвистывать, но заметил, что главный лесничий, морщась, потирает плечо:

– Это что за художества?

– Упал... Растяжение мышц. Или связок...

– Ну-ну. Конь о четырех ногах, и тот спотыкается. Вон вишь, стоит с перевязанными бабками, – Асеке кивнул на савраску. – А мужик... что мужик? На то ему и две ноги, чтоб о третью запнуться. А ну – покажь!

Бекет разделся до пояса. Асеке, как на лошадином базаре, обошел вокруг него три раза, ткнул тонкими, как шило, пальцами в большую руку, опухшую и почерневшую.

– Упал... Скажи кому-нибудь, не мне. Похоже, били тебя, – он присвистнул. – И крепко били. Сдается мне, даже камнем ударили. Однако... Какой же это бугай к тебе сунулся? М-да, если надкостница не раздроблена, за неделю, пожалуй, поправишься. А если раздроблена? С этим не шути. Про остеомиелит слышал? Страшная зараза. А не слышал, и не надо. Все тело покрывается язвами, а дальше – ужасная смерть. На всякий случай надо бы тебя кварцем облучить. Так как насчет кварца?..

Можно было подумать, что у него тут за стеной – кабинет физиолечения, с кварцем, солексом и токами Бернера. Хотя, конечно, прав Сигат: кривой нос этого бестии безошибочно чувствует, где собака зарыта. Или опытный знахарь, или хороший костоправ могли бы, вот так вот глянув, отличить одно от другого: упал человек или его камнем огрели, а может, стеганули кнутом?.. Ну и нюх у него, ну и глаз!..

– Ты что предпочитаешь – ужин или завтрак?

– А что, в твоём казане и то и другое – на выбор?

– Насчет казана ты подзагнул, а сковородка найдется. И если ты намерен ночевать...

– По-моему, пока что полдень.

– Да? А ты что, думаешь, я тебе три раза на дню буду готовить? Выбирай что-то одно – или обед, или...

– Ладно, пусть будет ужин.

– То-то. Бык, знающий руку хозяина, не нуждается в окрике...

И, лихо сморкнувшись, освободив кривой нос от балласта, Асеке направился к дому. Пятилетний Савраска, туго привязанный к яслям, сердито смотрел вслед хозяину, раздувал ноздри, фыркал, тихо, но с угрозой утробно ржал, кожа нервно подергивалась на его литом, массивном теле. «И что ты строжишься, жертва местной селекции?» – усмехнулся Бекет. Откуда ему, горожанину, который о лошади мог сказать только одно – какой она масти, остальное его и не интересовало, – откуда ему было знать, что пятилетний жеребец просится в табун, на волю?

– Потерпи, животное, – сказал Асеке, – еще ночку одну потерпи! Мы твои вериги перевесим знаешь на кого? На главного лесничего.

Асеке ушел в дом, а саврасый, возмущаясь, что «нет сил моих терпеть, мол, дольше», стал бить передними копытами землю. Аркан был предельно коротким, из-под копыт летели комья мерзлой глины и даже щепки от соснового столбика, к которому был наглухо приторочен аркан. Видать, саврасый несколько ночей подряд находился в подобном плену, его вольнолюбивая душа была возмущена несвободой, и конь никак не мог понять, зачем ему намотали на бабки так много тряпок. Но это было невдомек и Бекету. Асеке вынес из дому горсть размельченного клевера, но прежде чем дать лакомство коню, он провел саврасого по двору, внимательно следя, прихрамывает тот или нет. Хромоты вроде не было. Конь в несколько приемов съел клевер и опять повернулся к хозяину, как бы прося пить. Но Асеке покачал головой, давая понять, что не может пойти навстречу этому желанию. Саврасый, переместив свой вес на здоровую ногу, тяжело вздохнул.

– Понимаю, – посочувствовал ему Асеке. – Эти хрюкающие твари не лучшая компания, но что делать? Терпи.

Асеке вернулся в дом, вынес кипящий синий чайник и тонкой струйкой стал лить горячую воду на бабки лошади, обмотанные тряпками. Бекет думал, что саврасый встанет на дыбы, разнесет ясли в щепки, а тот вместо этого повернулся к хозяину, благодарно понюхал его плечо и остался смиренно стоять. Его темные бархатные губы подергивались, трепетали, и было видно, что он испытывает неземное наслаждение. «Надо же! – восхитился Бекет. – Хоть и конь, а до чего умен!..»

Светившее в лоб откровенное апрельское солнце прогрело землю, заставило ее поверить в то, что нет смысла дальше прозябать во сне, и пробудило к жизни самые потаенные ее глубины. Пар от волглого мха и прелой, затхлой травы окутал тайгу сырой синей дымкой. Местами тайга исходила паром, будто круп вспотевшей лошади. По-над рекой тальник и березы раскрыли почки, и оттого казалось, что в кронах листвяков на солнцепеке висит зеленовато-желтый туман. Из тайги лилась волна такого чистого озона, что она была способна заглушить парфюмерное зловоние четырех жиреющих в неподвижной тесноте кабанов. Правда, этот противоречивый букет запахов дополняло благоухание

курятника и клетушек с гусями, да из сараев тоже тянуло какой-то замогильной затхлостью, так что Бекет обалдел вскоре, будто ему всадили в нос крепкую понюшку насыбая.

Рыжая рябая в бигудях опять как самосвал промчалась по двору, вылив с подветренной стороны пару ведер грязной воды после стирки. Казалось, неспроста крылечки двух квартир смотрелись друг на друга, одно любясь западом, другое – востоком и как бы с неистребимой наглядностью демонстрируя мысль, что на вкус и цвет товарища нет, а коль чего не нравится – катись на все четыре стороны. Бабе, видать, было мало той вони, которую источала ее безотходная ферма, она еще и видом своим хотела как бы досадить соседу, сверкая ляжками и голыми боками. Бекету стало больно за Асеке, живущего в таком кошмаре.

А сам Асеке беспечно насвистывал Моцарта, теперь и Бекет узнал эту лучезарную мелодию, тем более что она мощным потоком лилась из окна. Ах, какой это был убийственный контрдовод в бессловесном уже поединке кривоносого с рыбой толстухой: он хотел побить Моцартом эту рыжую чушку, которая топталась босыми грязными ногами по его обнаженной и беззащитной душе. Только теперь Бекет понял, что завфермой и лесничий, которых он поджидал, один в двух лицах.

Прошло полмесяца с тех пор, как дипломатические отношения между двумя квартирами, которые и до того жили как кошка с собакой, были напрочь разорваны и объявлена беспощадная, насмерть, война. Произошло это после того случая со сволочугой Ситаном, когда Асеке, раскручивая детектив с лосенком, вынужден был заночевать в Аксу, а как вернулся домой, обнаружил, что у савраски спина стерта до белых проплешин, а бабки задних ног порезаны настом и подмороженным мартовским снегом, они вспухли, и конь в таком прежалком состоянии, что, чего доброго, отдаст богу душу. Кровь ударила в голову Асеке. Вырвав черный топор из пня, он ринулся к соседу, и зарубил бы его, попадись тот под руку. Но лесничего не оказалось дома, ссора обошлась пока без смертоубийства, а к завтрашнему дню злость Асеке понизилась на целую шкалу, и топор он оставил в покое. Что делать, заведено у казахов такое в обычае: свое не трогать, если можно хоть как-то чужим попользоваться, пусть даже если это чужое держится на живульку и вот-вот может рассыпаться. Все одно – свое целее будет. И когда саврасый остался без хозяина, Тынымкул, не будь дурак, оседлал его и съездил в райцентр. Чужое оно и есть чужое, чего его жалеть? Савраске он, конечно, задал жару, чуть его не загнал, не говоря уж о ногах коня, изрезанных о твердый наст, опухших, кровоточащих. Асеке потом целых полмесяца лечил его. Замесил в глине просо, привязал его к бабкам, чтобы оно проросло и вытянуло дрянь. Хромота вроде бы прошла, боль в душе Асеке унялась, хотя коня надо было еще лечить и лечить. Потому-то он и не давал ему лишнего питья, лишнего корма, потому-то он и просил его потерпеть еще ночь в сообществе хрюкающих рыл. Боль в душе унялась, а обида осталась, и это проклятое жжение внутри, там, где сердце. Да и не унять этой боли, не унять того жжения. Как не вправить теперь вывихнутого когда-то плеча и не выровнять носа. Не зря эти метки на лице Асеке, на его теле и на его судьбе.

...Всё началось с похоронки на отца. «Пал смертью храбрых...» Мать взяла сына за руку и пошла жить к своему отцу. Большеглазый и низенький дед был черный, как сажа на казане. Старик до беспамятства любил лошадей, и кокпар

если б он даже случился где-нибудь за Балканами, не мог обойтись без деда. Такой вот неумный старичок. В суровую военную пору, когда ишака держать и то было в тягость, он готов был отнять навильник сена у единственной коровы-кормилицы, чтобы отдать его вороному жеребцу. И ни одна живая душа не смела касаться гривы вороного. Исключение составлял только внук, такой же одержимый, как и дед, он мог последнюю лепешку отдать только за то, чтоб ему разрешили сесть еще раз на коня. Дед хвастал внуком: «В нашу породу пошел!» Это хвастовство привело к тому, что мальчонка сломал себе нос и вывихнул предплечье. А старик... что старик? Переживал, конечно, «Останешься жив, не обойдет тебя господь своим благодеяньем», – вот и все, что он мог сказать при этом. Со стариком, благодаренье небесам, ничего не случилось.

Потом то ли свадьба чья-то была, то ли тризна, старик готовил вороного для кокпара, и чтобы согнать с него первый горький пот, посадил единственного внука на коня и – кто осмелится его обогнать?.. За внуком увязалась целая свита пацанов, они с визгом гоняли на серых ишаках собак аульных. С полминуты они путались под ногами у вороного, а потом – куда им? – остались далеко позади. А он выехал в степь и дал коню волю. Нет, не послужила для него уроком вся эта катавасия со сломанным носом, с вывихнутым плечом, не стала она для него грозным предупреждением, что верхом на лошади недолго и шею свернуть. Простор и скачка пьянили, сиротскую душу переполняли счастье и восторг. И всё бы ничего, да разгоряченный вороной почуял запах табуна на выпасе и понес в степь. Что ему восьмилетний седок? Пушинка невесомая!.. Уж как удалось совладать с конем, бог весть, но мальчонка изо всех своих возможных сил тянул поводья на себя, тянул, и где-то в распаханной под зябь пашне сумел остановить коня.

Довольный, что всё обошлось, что он выполнил задание деда, сумел согнать первый горький пот с застоявшегося скакуна, он принакинул на коня кошму, поставил его остывать, а сам пошел в дом воды напиться – тоже пропотел. В доме он пробыл минуту-две, а как вышел, старик, свежавший черного козла, глянул на внука ненавидящим, насквозь прожигающим взглядом:

– Хоть ты единственный у меня, но – заколю!

Дед держал в руках нож, которым разделявал козла, и он запустил тем ножом во внука. Нож, лизнув мальчиший висок, воткнулся в косяк, дрожа от перенапряжения. Нож был черный, с желтой ручкой и в следах крови. Мальчишка замер, он не успел почувствовать страха, хотя никогда он не был так близко от смерти. Он не стал спрашивать деда, за что такая немилость, а дед не стал объяснять. Пока внук пил воду, дед увидел, что вороной то и дело поднимает одну из передних ног, и кожа у вороного подергивается от боли. Оказалось, что внук, пытаясь сдержать жеребца, загнал его в распаханную зябь, и тот впопыхах порезал бабки. Дед готов был из-за этого прирезать внука – пусть даже единственного, но в ту минуту дед не мог его простить. А единственный внук в ту минуту не знал, что старик во время коллективизации отказался отдать своего жеребца, целый год был в бегах, скрываясь от собственного зятя, за которого выдал свою родную дочь. Но в тот момент, когда сам Асеке из-за пораненных ног пятилетнего савраски бросился с топором на соседа, он не помнил своего деда. Впрочем, когда прошла первая волна гнева, он ужаснулся. По натуре он не был мстительным, не был злопамятным. Он, никогда не желавший зла никому, даже людям, к которым испытывал крайнюю неприязнь, теперь стал бояться себя самого, стараясь убрать с глаз долой, при-

прятать подальше топор и ножи. Правда, казахи, высоко чтя лошадь, вспышки гнева подобного рода оправдывают. Мол, гнев из-за коня не от злого умысла – от чистого сердца. Так-то оно так, и все-таки... Сосед, конечно, скотина, нет ему оправдания. А тебе самому в твоём безрассудстве оправдание есть?..

...Единственный внук не хотел таить зла на черного деда, который так опрометчиво, пусть даже в ослеплении гнева, метнул тот злополучный нож. Кто его знает, казнил ли сам старик в своем безрассудстве? Ведь он чуть не убил единственного сына своей разъединственной дочери? Поднял руку на мальчонку, отец которого погиб на фронте, и всё, что осталось от погибшего, – вот этот пацан. Но прощения просить не стал и жалости своей никак не выказал. Внук тоже проявил характер – даром, что ли, у него такой шальной дед! Натуру – ее в карман, брат, не спрячешь, про себя не утаишь. В общем, стар да млад были одного поля ягода. Та мгновенная стычка случилась в промельк глаза, свидетелей не было, и ни одна живая душа не ведала, что стряслось между дедом и внуком. Так что никому невдомек было, с чего бы это назавтра спозаранку внук сгреб свои тетрадки да учебники, сунул их в сумку переметную и был таков. Восвояси подался в родной свой аул. В душе было немо и пусто. Разве что мать оставалась одна, ее пожалеть бы, но душа захолонула в безнадежном сиротстве. Кто бы его пожалел – или хоть осудил бы? Нет, никому-то и дела до него не было. А еще говорят: сирота, мол, злопамятен. Ой ли? Его сердце открыто было людям и с готовностью отвечало бы добром на добро. Даже в той жутковатой истории не дед пощадил малого, а малой пощадил старика, ушел с глаз долой. Чтобы не быть живым каждодневным укором, не напоминать деду поминутно о позорном его безрассудстве, терзая старую изношенную совесть и заставляя опускать глаза в молчаливом раскаянии. Он ушел, оставив свое маленькое мальчишье сердце там, рядом с ножом, измазанным козлиной кровью. То было долгое и трудное прощанье с детством, потому что и после не раз и не два ему приходилось оставлять свое беззащитное сердце ребенка, чтобы взрослеть быстрее, чтобы дальше усваивать суровые уроки жизни...

И на крыше избы в Шолактаме, куда он пришел от деда, он тоже в свой черед прощался с детством, лежа под выцветшим верблюжьим одеялом на высушенной шкуре стригунка, слушая, как засыпает дом после томительного голодного дня, пытаясь приноровиться к ожесточенным будням дома, смекая, чем он может быть полезен, чтобы облегчить участь тех, кто в нем живет.

Это был родной, отчий дом. Он здесь родился, он жил здесь раньше, в недолгую пору неведенья, когда рядом был отец, и жизнь, казалось, сулила лишь радости. Сейчас в том доме жил Иранбак, он приходился отцу каким-то побочным зятем – не то чтобы седьмая вода на киселе, но что-то в этом роде: его жена считалась двоюродной сестрой Асеке. Хотя была много старше и годилась ему в тетушки. Дом был заполонен чернявой рахитичной детворой, которая была, пожалуй что, единственным богатством Иранбака. Потому что из всех прочих благ ему перепала ветхая одежонка – одна на все случаи жизни, ну и судьба, не скупясь, со всей щедростью превеликой одарила его множеством забот, суть которых сводилась к одному: как прокормить всю эту ораву, во что ее одеть-обуть.

Шолактам считался райцентром, и был в том райцентре склад, где хранилась шерсть. Так вот Иранбак заведовал тем складом, занимая пост по тутошним меркам солидный. Но и должность эта никак не ослабляла тисков нужды. Иссохший

тощий мужичонка, сутулый к тому же, будто к спине его приторочен невидимый тюк шерсти, причем тяжелый-претяжелый, потому как в глазах его отчаяние загнанной лошади, он был настолько погружен в свою каждодневную жизнь, в преодоление лишений и тягот, что ему и в голову, пожалуй, не приходило, что может быть другая жизнь, другая доля, светлей и радостней, чем та, что мыкает он. Одно лишь было у него утешение: детей он мастерил исправно, не уклоняясь от этого дела, и все они у него были на одну колодку, такие же чернявые и тощие как сам он, разве что ни у кого из них не было таких длинных волос – они наезжали на лоб Иранбаку, почти что скрывая от божьего света напряженно глядящие глаза с кустистыми и жесткими бровями. Впрочем, никто больше в Шолактаме не носил прическу на такой манер. Как, впрочем, ни у кого не было и карманных часов на цепочке, Иранбак их исправно, три раза на дню заводил, сверяясь по солнцу. Опять же ездил он на велосипеде, единственном во всем райцентре. Хотя «ездил» сказано чересчур, по большей части он таскал его на себе, но, как ни крути, велосипед был личный транспорт, какого не имел никто.

В этом затюканном доме одна лишь хозяйка выглядела сносно. И нет бы детям походить на нее и ликом и статью, но, видно, Иранбак в этом вопросе крепко гнул свою линию, так что ни один из них, орущих и сопливых, не был похож на мать.

Хозяйка встретила пришельца с показным радушием и даже нашла в себе силы прослезиться: «Родной ты мой и долгожданный!..» Зять, тот хоть косо глянул из-под своей лохматой челки, но без всякой там показухи был приветлив, насколько у него хватило сил:

– Э-э, и этот негодник побывал, никак, на фронте!.. Говори, на каком? Ну да ладно...

Мол, голова на месте, руки-ноги целы. А то, что нос слегка подгулял, смотрит в сторону, так это не беда – были б две дырки, было б чем сопеть, остальное приложится.

Слава богу, не стал он его тискать да обнимать, разыгрывая гостеприимство, а то потревожил бы плечо, оно и так болело. Насмешки зятя были искренней и теплее, чем нарочитые слезы хозяйки. А угрюмый взгляд Иранбака, да из-под челки, да из-под бровей – это прикрывка, это единственный знак его мужской твердости, потому как в глазах тех, как выяснил позже Асеке, навсегда угнездились сострадание к людям, боль за их непосильную жизнь, какую приходится им, бедным, мыкать. То ли уже тогда уважая в Асеке мужчину, то ли в нем почуяв родственную душу, Иранбак указал ему место за дастарханом более высокое, чем то, на котором сидел сам, и место это Асеке не терял, пока жил в том доме, пока не пришел черед покинуть Шолактам, идти по жизненной дороге дальше. Конечно, одно дело, когда ты единственный в доме ребенок и чувствуешь себя стерженьком в карандашике, и совсем другое, когда вокруг тебя орава. С первой же минуты Асеке стало тесно в том муравейнике, но когда он заявил, что спать будет на крыше, бедная тетка смутилась. А ну как осудят люди? Мол, не нашлось в доме угла, чтоб бросить подстилку. Парень хоть пришлый, но не чужой. Бедная тетка смутилась, стала возражать, а бедный зять заупрямился: слово гостя для него – закон. И, наперекор хозяйке, Иранбак бросил на крышу шкуру стригунка да одеяло верблюжье в придачу: «Будь как дома». И пригрозил: «А не то – забирай свою сестру обратно». Много позже Асеке понял, что то был царский жест и царский подарок: шкура стригунка была тепла бокам, как материнские колени, а верблюжье одеяло зять попросту сорвал с себя.

Приехала мать, пытаясь увезти единственного сына к деду, но сын стал отговариваться, что в Шолактаме он привык, что здесь – школа. Мать же восприняла эти отговорки как его понятливость, как нежелание оставлять отчий дом на произвол судьбы, а главное – развязать ей, матери, руки. Потому как немного погодя черный старик поднатужился, собрал всё, что было в доме, все пятьдесят бесценных одеял, пятнадцать кошм с узорами, пяток ковров всё из той же кошмы да коровенку с телкой и снова выдал замуж свою невезучую дочь. Но Асеке, как пришел в Шолактам, так до самых зимних стуж не слезил с крыши, навсегда позабыв тепло и ласку материнских рук, и, следуя за Иранбаком будто тень, он жадно впитывал, перенимая интонации, жесты строптивного зятя, грубоватые, даже резкие, может быть, но в них была мужская сила, простота, и косой взгляд Иранбака ему был порою роднее, желанней, чем уклончивая материнская ласка. Бывало, поутру Иранбак будил его, дернув за ногу: «Асеке!» Это означало, что в нем есть надоба, что в деле каком-то без него – ну никак. Бывало, Иранбак ворчит: «Этот наш негодник», – и сквозь ворчанье Асеке угадывал, что им довольны, хотят похвалить. Ну, а если Иранбак напрочь умолк и оглох, то, значит, чем-то недоволен, но ни слова, ни полслова при этом, разве что бросит косой взгляд.

– ...Асеке, ау-у!.. Ужин ваш... то есть твой, вариться должен целый день? Как голова старого барана?..

– Пардон, мосье, пардон, – встрепенулся Асеке, очнувшись от своих, видать, навязчивых дум. И с французского перешел на киргизский: – На одной свадьбе двух невест не бывает. Ты что – не знал, что кишка кишке телеграмму пошлет? А если знал, то надо было завтрак выбирать. Сам выбрал ужин? Сам. А где ты видел казаха, чтоб тот садился за вечернюю трапезу, когда солнце в зените?

Он начал было насвистывать, но свист в этот раз получился шепелявым.

– Вот зубы, а! Шатаются, спасу нет. Захочешь однажды исполнить концерт Паганини с оркестром, но... вместо свиста – шипенье, – поделился он своими опасениями с Беккетом. – Тебе какой концерт поставить на проигрыватель: первый или второй?

– Десятый... – буркнул Бекет. – Я пас.

Нет, ну слушать на голодный желудок Паганини... Покорнейше благодарю!

– Угу. Тогда займемся делом, – невозмутимо сказал Асеке и вынес из дому кастрюлю с недоваренным горохом, иголку с ниткой и полбанки солидола.

Он нанизал горох на нитку и бросил нитку так, чтобы ее было видно курам с соседской половины двора. Время переваливало за полдень, скоро начнет вечереть. Целая свора рыжих пеструшек под предводительством двух петухов орудовала во дворе соседа, разгребая лапами полову и то, что осталось от лошадиного корма. Появление низки с горохом вызвало переполох в курином табунке. Пренебрегая государственной границей, разделяющей дворы, куры ринулись на сопредельную территорию. Только тут главный лесничий смекнул, отчего припозднился ужин.

Он даже с места привстал:

– Асеке, прекратите!..

– Спокуха, милоч, – и, перейдя на узбекский, сказал с укором: – Я же просил тебя – не выкай. Кстати, в Ташкенте есть такой базар – «Алай». Ты бывал когда-нибудь там?

– Я на Алайском базаре кур не воровал.

– Какое совпадение! Я тоже. Так вот, на том базаре ишаки кричать не могут. Спрашиваешь, почему? О-о, это тонкое дело. Перед воротами стоит бочка солидола, а рядом с ней дежурят два здоровяка, у каждого в руке – дрын, концы которого обмотаны тряпкой. Они останавливают всех входящих торговцев, вернее – ишаков, навьюченных товаром, и взимают пятикопеечную мзду, она так и называется – оборотная мзда. Один из стражей поднимает хвост ишаку, другой отправляет порцию солидола в ишачью задницу. Зачем? А затем: ишак тужится чтоб заорать, но если в прямой кишке не застревают ветры, то вместо крика – пшик. Ни ослица, ни осел – пусть самый ярый, самый голосистый! – орать не смогут. Так-то, товарищ главный лесничий. Иначе от ослиного ора не то что Алайский базар, – весь Ташкент провалился бы в преисподнюю.

Причем тут ишаки с Алайского базара? Какое это отношение имеет к воровству кур? Не приведи Аллах, застучает их рыжая бабища... Бекет аж голову в плечи втянул, представив себе, чем всё это кончится. Асеке же – хоть бы хны! Насвистывает себе – и не шепелявит даже:

– А сам концерт ты увидишь на закате. Да, да, именно увидишь – слушать там будет нечего.

Не успел он рта закрыть, как огненно-красный петух, сорвавшись с места и волоча по земле крыло, во весь дух припустил к Асеке. А тот, продолжая насвистывать, извлек из петушиной глотки низку с горохом, сунул в волосистую задницу петуха ком солидола и отпустил красавца с богом. Тот встряхнулся, будто провернул нешуточное дело, и с места в карьер устремился с серьезными намерениями к рябенькой хохлатке, но на полпути сбился с курса, потому что как раз полосатый петух попался на приманку и не воспользоваться беспомощностью соперника было просто грех. Рыжий вояка, пока Асеке вставлял заряд солидола его недругу, успел-таки долбануть пару раз своего ненавистника.

– Да ладно вам, – укорял их Асеке. – Вечером в кустах помиритесь. Ничегошеньки с вами не стряется. Ну, опозоритесь чуток! Что делать? Искусство требует жертв. Не можем же мы оставить гостя без концерта.

Асеке щелкнул по гребешку суматошного вквохчущего рябенького пивня и отпустил его в стайку.

– Теперь пора и поужинать.

Он не спеша развел огонь в печи – вернее, в том, что называлось печью: то был очаг, вырытый в земле. Подвесил синий закопченный чайник на треногу и опрокинул на черную сковороду содержимое двух консервных банок – на одной значилось «Завтрак чабана», на другой – «Ужин туриста».

– Изысканное блюдо – ералаш. Только для гурманов!

Вот умеет он тень наводить на плетень – не сразу и сообразишь, куда он вырллит. Бекет уже по-новому глянул на уйму пепельниц, металлических ковшиков для мытья рук и бог его знает еще для чего. Судя по ним, хозяин дома опустошил вагон и маленькую тележку всех этих блюд, предназначенных для утренней трапезы чабана и вечернего застолья туристов. А из пустых консервных банок – они Монбланом высились на задворках – умелец мог бы построить дом.

– Ужинать будем как – под вечерним небом, на воздухе? Или уютней под крышей?

– Всё равно.

– Тогда... прошу мне помочь.

Крохотная прихожая. Под стать прихожей – крохотная комната. Мебель – тахта, стол и стул. Зато уйма пластинок и книг. Под столом, соединенная с двумя усилителями, обитала радиола. Адаптер, нацелившись на черный диск с шедевром Моцарта, готов был по мановению руки хозяина выдать музыку на всю катушку. Доцент-отшельник, в таежной глуши общавшийся со всеми классиками мира, не позволял своей ноге ступить на голый пол. Дом от порога и, казалось, до потолка был устлан медвежьими шкурами. Говорят, драчун коллекционирует дубинки, а этот меломан-забияка всю стену увешал домбрами. Их штук семь у него. Впрочем, в этой музыкальной оправе на стене красовалась старая сабля, оружие было именным: на серебряных ножнах выгравирована дарственная надпись с признанием заслуг владельца этого оружия.

– А ускорить нельзя?

– Ждать не догонять, – резонно заметил Асеке. – Раз-два, взяли! – и они подхватили круглый низенький столик, покатали его во двор.

Столик был сработан из сырой лиственницы, а потому грузен как чугунная плита.

Вокруг столика хозяин бросил ворох медвежьих шкур:

– Хоть голой задницей садись – ничего не застудишь. А? Огнем обжигает до пояса! – похвастал он.

Красный петух, взлетев на ворота, встряхнул крыльями, набрал полную грудь воздуха, чтобы на всю округу протрубить вечернюю зорьку. И он уже закатил глаза и горделиво выгнул горло, чтобы ликующе прокукарекать, но вместо ожидаемого «кукареку!» у петуха совсем с противоположной стороны, под хвостом, оглушительно грохнуло, будто там разорвалась петарда. То ли под действием взрыва, то ли с перепугу петух с шипением и клекотом подпрыгнул, как тюфяк рухнул вниз, брякнулся оземь и, вылупив глаза от ужаса, ринулся сломя голову бог весть куда, но только бы подальше от позора. Куры, ничуть не меньше напороханные взрывом, не закудахтали – какое там! – завопили, будто в их табунок ворвался ястреб. На это светопреставление из своей двери вывалилась рябая рыжая соседка. Ее будто током долбануло, она, разинув рот, в полном онемении посмотрела на обезумевших кур, потом уставилась на красного петуха, тот орал как резанный, пытаясь зачем-то протиснуться в щель забора, которая никак его не пускала, поскольку была непомерно мала. И лишь после этого она, всё так же разинув рот, всё в том же онемении, уставилась на Асеке глазами дикой кошки, готовой поцарапать морду кривоносому, потому как чуяла ее женская суть: весь тот переполох в курином царстве – не без его участия.

– Спокойствие, только спокойствие, – унял он ее ярость и как бы прираслонился ладонью, таким испепеляющим – даже на расстоянии – был взгляд соседки. Но тут же и пояснил, будто экскурсовод в зоопарке: – Типичный случай петушиной эпилепсии. Как – неужто не видели раньше? Тогда поторопитесь: приступ близится.

И он повел глазами, указывая на рябого петуха, – тот уже восседал на воротах, готовый посрамить своего неудачливого соперника. Но едва он натужился, чтоб возвестить пернатым сородичам о времени вечернего намаза, как и под ним позорно грохнула петарда и, повторив маневры своего предшественника, он тоже исчез в лопухах. Не найдя явного криминала в деяниях Асеке, но тем не менее готовая лопнуть от злости, соседка в бессильной ярости вернулась в дом.

Когда Бекет одолел колики смеха, куры уже утихомирились, брели к сараюшке, собираясь ко сну, вокруг стояла удивительная тишина. Асеке, насвистывая что-то свое, мудреное, невозмутимо колдовал у печи, делая вид, что к недавнему переполоху во дворе не имеет никакого отношения. «Ералаш» был готов, кашевар как раз опрокинул его из сковороды в глубокую деревянную миску.

– Да исполнятся твои желания, добрейшая из добрейших! Да обойдешь ты за версту и очаг мой и дом! – смиренно пожелал Асеке затаившейся на своей половине соседке, снимая между тем с треноги синий чайник, поплеывающий кипятком.

Закатное солнце, круглое будто медный поднос, налилось вишневым жаром – должно быть, от переизбытка дневных впечатлений, точь-в-точь как лицо конопатой соседки, с той лишь разницей, что соседка разъяренной скрылась в доме, а солнце ушло за горизонт с добродушной усмешкой, вдосталь насмотревшись за день на все несуразности нашего людского бытия. У сурка, кричавшего весь день, то ли язык отнялся, то ли украл кто его дурную поминальную молитву. Но свято место пусто не бывает, и тут же высунулась болотная птица с нескончаемой просьбой: «Тарт, тарт!..¹» Видать, увязла в омуте, тонет, бедолага. Не потому ли крик ее так всполошил болотных жителей – журавлей с гусями, они вдруг подняли гвалт. От реки поднимался белый туман, как бы взбивая постель для близящейся ночи, тяжеля голову, располагая ко сну.

Рыжая соседка вновь проявила кипучую деятельность: погнала мимо дома целое стадо полосатых коров, впереди которых шел полосатый же бык с колокольчиком. Потом деловито и вроде бы невзначай обошла ту половину двора, которая была как бы закреплена за Асеке. Баба рыскала вороватыми зенками по закоулкам, заглянула по ту сторону забора, ища пропажу и не находя ее. Она и в курятник слазила, но петухов – ни тебе красного, ни хоть бы рябого отыскать не смогла.

Асеке между тем, распарив мяту, приложил ее к плечу Бекета, прибинтовал, накинул на плечи гостя шубу. Боль унялась, подкралась сладкая дрема, но стоило вспомнить концерт петухов, смех опять одолевал до икоты.

После «ералаша» у Асеке был, так сказать, культурный досуг, и он с головой ушел в свое хобби. Лаская, нянча в руках черную, неброскую на вид домбру, он вслушивался в ее тихую исповедь, ослабляя и подтягивая струны, и, видно, черная домбра рассказывала ему о мире что-то не менее важное, чем величавые хоралы Вагнера. Домбра была, наверное, предметом его особых забот, он кусочком свежей кишки принялся заклеивать едва заметную трещину на кузове. Но именно в ту минуту, когда он с головой ушел в это дело, к ним неожиданно-негаданно припожаловал гость. «Надо же, голова у него как дыня, эллипсом», – невольно подумал Бекет, глядя на пришедшего. А дынеголовый без всяких там обиняков выставил бутылку водки, лихо стукнув ею по столу.

– Как живется-можетесь?

– Живется да не можетесь, – ответил Асеке.

– Как это?

– А так. Переехать не можем. А не можем, потому что не хотим. А не хотим, потому что нам здесь хорошо. А если вам плохо, вы и переезжайте.

¹ Тяни, тяни!.. (каз.)

– Ху-ху-ху! – деланно засмеялся гость. – Маладес!.. Ты мою кралю так напугал, что она чуть не забеременела с перепугу. А была бы на сносях, до абортного отделения добежать едва ли успела бы... Ху-ху-ху!..

Очки здоровые как фары, глаза навывкате и лупает ими по сторонам, будто пес, что ищет свою собачью посудину.

– Ну-ну, – сказал Асеке и сунул ему под нос сковороду с остатками «ералаша».

– Угу, – удовлетворенно отреагировал гость. И зачем-то спросил: – А какая у тебя зарплата, милый?

– А какое тебе дело, дорогой?

– Да вот смекаю: как ты сводишь концы с концами? Завтрак у тебя – чабана, обед – охотника, ужин – туриста. Шикуюешь, слушай!

– Красиво жить не запретишь.

– Угу, – уклончиво ответил гость, поняв, что заехал не очень удачно, а точнее – совсем неудачно, потому как сам же по носу и получил. – А скажи мне: кто этот джигит?

– Турист.

– У-у, редкая птица!.. Откуда же вас столько развелось? И конных и пеших, и группами и в одиночку, и диких и не диких, черт его знает еще каких? Чего дома-то не сидится? Здесь, в тайге глухой, чего ищите-рыщете?

– А вот это вот – «Завтрак туриста».

– Обормоты несчастные! Бичи голоштаные! Прищемили б задницу да сидели б на месте, под ногами б не путались... Ну да ладно! Чего там в сковороде? О, в самый раз – твоя вожденная пища! Садись, братан, ближе. Насчет бутылки как – «за», «против»? Или по обстоятельствам? Мы с Асеке, бывает, пропустим по маленькой. Как добрые соседи... Нет, ну – маладес. Ба-лу-ан! Припугнул мою кралю. Всю ночь теперь будет дрожать!..

Дынеголовый ворвался к Асеке запанибрата, как единственный и самый близкий человек, но его голодные глаза и пронырливые руки так и шарили по дастархану, так и гребли всё к себе и под себя, и, казалось, он из любви к ближнему готов этого близкого ободрать будто липку. К тому же от него несло скользким запахом рыбы, запахом ила с гнильцой, и Беккет, как ни отворачивался в сторону, а почувствовал дурноту, тошноту и удушье. Ему почудилось, что из-под ногтей толстых пальцев, которые весь день насаживали на крючок наживку, вот-вот выползут дождевые черви. Тьфу, какая пакость! Дынеголового звали Тынымкул¹, он был и лесничим, и завфермой по совместительству. И Бекет не мог удержаться от иронии, что вот-де, мол, владыки этого края, беки да ханы, вместе с горами Алайскими хотели превзойти величием луну и солнце, а теперь, видишь ли ты, кто здесь правит бал – тихий, тишайший, ничтожнейший раб Тынымкул.

Не сполоснув пиалушки, невзирая на то, что на дне их осталась заварка, Тынымкул разлил водку. Три пиалы были наполнены с краями: знай, дескать, наших! Бутылку с оставшейся водкой он, впрочем, сунул в переметную суму на вешалке. И с видом благодетеля изрек:

– Где лошадь валялась, там конский волос останется, – это он не по поводу заварки на дне пиалушек, это он по поводу собственной щедрости. В общем, душа у человека нараспашку – широкая и безразмерная душа. – Ну, вздрогнем! – и он

¹ Досл.: тихий раб. На Алтае по традиции к имени добавляют обычно «бек» или «хан», а у южан добавляют «бай» или «кул», то есть Тынымкул был явно приезжим, чужаком в этих краях.

призывно глянул на Асеке, на «братана», именем которого так и не поинтересовался. «Что в имени тебе моем?..» – Давай, давай!.. Дерни! Эта влага тоже тебе не чужда. Да, кстати! Я выменял этот бутылек у одного приبلудного туриста. На сазана выменял. А сазан какой был! Не сазан – телок. Я б две бутылки взял, но турист заспешил, не захотел ждать, когда я второго теленка за жабры выужу. Ой, слушай, какие они олухи, эти туристы! Полудурок на полудурке. Из них шумовкой можно выудить все, что захочешь, догола раздеть!..

Поскольку никто с Тынеке «вздрагивать» не спешил, он «дернул» в одиночестве, убежденный, как видно, что в этом деле – и один в поле воин. «Ералаш» он заглотнул в мгновение ока, начавши тут же шариться вокруг голодным взглядом: чего бы это съесть еще?

– Насчет хлеба просим пардону – весь вышел, – и Асеке вытряхнул из сумки звенящие от сухости пряники, что вызвало восторг у гостя.

– У-у, наш Асеке – арисдомкрат. Он вместо хлеба ест печенье! – и тут же, не жуя, заглотнул целиком пару пряников.

Ну-ну, значит «арисдомкрат». Надо полагать, они так шутят, смекнул Бекет. Впрочем, оставались еще две нетронутых пиалы, наполненные до краев, и Тынеке на них устремил свой алчущий взгляд.

– Ты, Асеке, что – против? Тебе что – шампанское подавай или коньяк? Да ты глянь на нее: чиста как слеза. Один глоток, и ты – в раю...

Странно было видеть Асеке: губы вытянуты у него трубочкой, а не насвистывает он, как обычно. Видать, перезабыл всю свою музыку рядом с этим назойливым, как овод, четырехглазым чудовищем, с его дерьмовой водкой, она как ополоски в пиалушках, ее не то что пить, на нее смотреть противно. Да еще это деланное сочувствие к Асеке, жалость, похожая на крокодильи слезы.

А гость не унимался:

– Смотрю я на твои домбры и никак решиться не могу: какую бы из них мне выбрать?

– А играть кому собираешься – свиньям? Боюсь, эта музыка не для их ушей.

– О, ты прав! Даже свиньи разбегутся от игры на твоей домбре. Ну да что взять с этой пустой деревяшки? – и Тынеке осторожно, однако не без настойчивости потянул к себе домбру из рук егеря, бережно отложил ее в сторону и, приобняв Асеке, который намеревался явно встать и уйти, чуть ли не силком усадил на место.

Лишенный свободы передвижения хозяин стал воротить свой кривой нос в сторону – то ли от зловонного дыхания полуметровой дынеобразной головы, оказавшейся в недопустимо близком соседстве, то ли из опасения, что крокодильи слезы и впрямь прольются и проливший их полезет с поцелуями. Впрочем, верны были оба предположения. Жарко дыша от выпитой водки, Тынеке прослезился и потянулся толстыми, слюнявыми губами к соседу. Асеке, сжатый клешнями его рук, вынужден был покориться неизбежному: отдал на откуп соседу щеку для поцелуев.

– Ай, Асеке, Асеке! – крикнул тот дрогнувшим голосом, безжалостно тиская лапами тощее плечо обескураженного егеря. – Ты блаженный, святой, на тебя только Богу молиться. Правoverные, вы гляньте на него! Чем он занят все двадцать четыре часа суток? Не поверите. Он слушает скулеж вот этой радиолы, чтоб в ней сгорели все лампы! И не просто слушает – сам за ней следом скулит. Но ведь соловья баснями не кормят, милый мой. Если б тебе за твой художественный

свист платили бы хоть гривенник в час, свисти на здоровье... Ладно, я понимаю, выдру из речки не очень-то выудишь, а брать куницу и соболя нам принципы не позволяют, но есть же белки, есть бурундуки, они твоих принципов не поколеблют. Да если по-доброму, по-людски сговориться с соседом своим Ажибеком, ты нащелкать их можешь за год на все 24 тысячи, не меньше. Да что там белки! Люди днем с огнем ищут медвежью желчь, оленьи рога, травы-коренья от всяческой хвори. Господи, мне ли тебя учить! Да в твоих руках вся подноготная этой тайги каждая ветка станет монеткой, только захоти!..

– Так-то оно так, Тынеке, но... Добуду я зверя, выделаю шкуру, а дальше?

– Что дальше?

– А то! Кто купит ее у меня?

– Нет, вы гляньте на него: кто купит? Да вот хотя бы он, турист твой, и купит. Или ты думаешь, он шастает по тайге зазря? Ну да, он лепехи коровьи пришел собирать, они ему страсть как нужны!.. Да он денежки тебе с радостью выложит и еще спасибо скажет. Верно я говорю, а, братан?

Бекет уклончиво повел плечом.

– Э-э, да ты хитер, Асеке! Да ты, однако, перехватил богатого покупателя. Что, угадал? То-то ты всполошился, когда я пришел, то-то ты нос воротил...

– Продать-то я, положим, продам. А кто штраф за меня заплатит?

– Какой штраф? Кому штраф?

– Государству, кому же еще.

– Тьфу! Нет, ты глянь на него: штраф!.. Да ты здесь в тайге сам себе государство.

– Выходит, я сам на себя должен акт составлять?

– Ну-у, с тобой не соскучишься!.. Ты готов сам себе задницу наскипидарить, чтоб от самого себя бежать без оглядки.

– А скипидару-то у меня как раз и нет. Может, солидол сгодится? – Асеке заговорщицки подмигнул Бекету. – Так-то, Тынеке! Таежный зверь – это тебе не дрова, не сухостой, который можно валить, рубить и продавать возами. Да вам-то что тревожиться? Клиент у вас смекалистый, толковый: сам придет, всё, что надо, найдет, сам срубит, погрузит и увезет. Вам одна забота: денежки считать.

– Следишь?

– Нет, не слежу – просто гляжу.

– Глядишь, значит. Ну-ну... Говорят, в старые добрые времена, когда мусульмане еще не забыли ни заветы отцов, ни веры своей, ни обычаев, прибил к ним в здешние края один ученый и почтенный человек. А тутошние неучи знать не знали ни про алфавит, ни про другие ученые разности. Так вот они связали ему руки-ноги и нагишом бросили в бухтарминские камыши. А комары тутошние насмерть закусали. Что с них взять? Тоже неучи... Ху-ху-ху!..

– Комар дурную выпивает кровь. Будем считать, что мой родич очистился перед кончиной от скверны. А значит...

– Что значит?

– ...попал в рай.

– Ху-ху-ху!.. Уж не хочешь ли ты за ним следом? Смотри, с перепугу забудешь, где твой родной Туркестан. Ай, Асеке, Асеке! Не лучше ли сесть с соседом рядком, да и поговорить ладком?

Тынымкул вытащил из переметной сумки недопитую бутылку, выбил пробку, принялся разливать по новой, но, глянув на Бекета, осекся:

– Он что зачумленный такой? Контуженный, что ли? Как мешком из-за угла ударенный...

Пока Тынеке разливал водку да разглядывал Бекета, Асеке зацепил пальцем чуточку соды – она стояла под столом в жестяной банке для мытья посуды – вдруг, зажмурив глаза, простер свои ладони над дастарханом. Тынеке во все глаза уставился на него, будто кролик на удава.

– Стань ядом!.. Стань ядом!.. – в полузабытьи, как заклинание, проговорил Асеке и трижды провел ладонью над пиалушкой с водкой. – Да будет так!..

Водка в пиале вскипела. Тынеке в ужасе смотрел из-под очков на это шаманство. А кривоносый, нет чтобы остановиться, чайной ложкой помешал ту водку, вспенив ее и даже заставив пену выстрелить.

– Готово. Пейте, Тынеке.

– Ты хочешь меня отравить?

– Я хочу очистить вас от скверны. Пейте, пейте. Вы или в рай попадете, или в то место, где лежат ваши пропавшие петухи. Не вздумайте кукарекать вместе с ними. Не получится.

– Тьфу! Колдун чертов...

– Колдун не колдун, но кое-что смыслю в наговорах и заговорах.

Тынеке с опаской посмотрел в пиалу и вдруг отпрянул от нее, будто увидел там змею. Он так резко вскочил, что долбанулся макушкой о шифер беседки, всполошив саврасого, который с храпом стал бить землю передним копытом. А дынеголовый, ахнув от ушиба и от страха, будто его хватают за ноги черти, сбил треногу и ринулся вон как ошпаренный. Асеке при этом вновь обрел способность насвистывать, выводя мудреные рулады. Вид у него был абсолютно невозмутимый, будто никакого переполоха и не произошло. Он, как ни в чем не бывало, вновь притянул к себе домбру, а Тынеке, отбежав на безопасное расстояние, оглянулся и посмотрел на Бекета, как бы ища сочувствия, но не нашел поддержки, потому как Бекет лежал пласт пластом, на этот раз действительно парализованный, но то был паралич от безудержного приступа смеха.

– Эй, ты! Маг, твою мать! Ты смотри у меня, дозаговариваешься. Я на тебя управу найду. Вот хоть одна курица сдохнет, я знаешь что сделаю? В суд на тебя подам, понял? Думаешь, для таких, как ты, закон не писан?!

– Тынеке, я и во сне мухи не обижу.

– Я тебе не муха! – взвизгнул дынеголовый. И понес совсем уж околесицу: – Думаешь, раз у тебя кривой нос, так ты можешь совать его в чужие дела? Дудки! Суй его, если надо, в свою домбру, да под копыта своего саврасого. А сунешься еще раз ко мне, без носа останешься.

Ну, пока что я тебя оставил с носом, думал, как видно, Асеке, глядя вслед кипящему будто холодный самовар соседу. А нос я тебе прищемил и головомоюйку устроил, чтоб неповадно было, думал, наверное, дынеголовый, покидая поле боя. Именно в этот момент где-то на задворках прокричал петух. Потом еще раз: кричал он приглушенно, насадно и с хрипотцой, будто его собаки душили, а он, вопреки удушению, всё же пел вечернюю зорьку. На этот крик из своего окошка, как из амбразуры дзота, выглянула владелица петухов. Впрочем, ее рябое рыжее лицо тут же исчезло – видать, она заметила, что вражеский стан не безлюден. Хотя, пожалуй, в ту минуту ей было не до петухов: мужа заполучила живым, и на том спасибо...

Пришла ночь, и, казалось бы, принесла с собой возможность заснуть. Но не тут-то было. Оказалось, полосатый бык-производитель, что на закате прошел мимо дома во главе коровьего стада, кроме всех его прочих достоинств еще и прирожденный вокалист: он ревел до полуночи, звеня колокольцем. Быка мучили лавры не то Шаляпина, не то Гяурова, от его рева готово было рухнуть небо Аюлы. В довершение ко всему у быка обнаружился завистник-конкурент, и теперь уже рев раздавался дуэтом. Заржала лошадь в переизбытке чувств – то ли от возмущения, то ли от восхищения. Это пробудило в саврасом задремавшего было Ромео: он стал с такой яростью бить копытцем в яслях, что зашатались стены сараюшки. Бекет подивился: днем в тайге было тише, чем ночью. И еще Бекет задавался вопросом: по логике вещей в тайге должны обитать подопечные Асеке – дикие звери и птицы, но спрашивается – где же им здесь обитать, когда лес заполнен голосами и жизнью домашней скотины – всеми ее мыслимыми видами, от лошади и коров до овец и коз.

– У вас тут что – животноводческий комплекс?

– Ну, зачем так громко, – безмятежно откликнулся Асеке. – До комплекса нам далеко, а скотины хватает.

– Да чья она?

– А ничья.

– Как это – ничья?..

– А так. Ты вот поспрашивай у начальства района: есть ли тут у кого скотина?

Ни-ни, упаси Бог! Откажутся все как один. А попробуй вылови коровенку какую или овечку драную, вой на весь район поднимут, как волчья стая.

– Интересно...

– Очень!.. Наш Тынеке – парень не промах. Ты думаешь, он с утра до ночи занят тем, что рыбу ловит? Черта с два! Все эти удочки, спиннинги – для отвода глаз. Он рыбу в грош не ставит. А на острове торчит неспроста: скотину караулит. Следит, не пропал ли чей жеребенок, теленок. Корм вовремя надо подсыпать, соли дать, то да сё.

Бекет, откинув клапан спального мешка, сел. Нет, сон не шел. Асеке, по обыкновению завязав глаза платком, лежал отрешенно, не двигаясь, преодолевая время ночи. Казалось, он не слышит ни рева быков, ни душераздирающих воплей всех самцов-производителей – рогатых, сопатых, ржущих, мекающих и бекающих. Казалось, он где-то далеко отсюда, в иных мирах. Лишь пачка «Шипки» под рукою, и рука чутко ее стережет, будто пачка вожделенного курева может вдруг, ни с того ни с сего, выскользнуть из-под ладони и упорхнуть как строптивая птица. Он когда заберется в спальник, его и не видно, затаилось там что-то махонькое, с горсть – неровен час ворона унесет. Но откуда же столько энергии, блеска мысли и озорства, и неистребимой жажды справедливости, и жизнелюбия? Откуда он силы берет просто жить, ведь кроме суррогата из этих банок, адресованных чабану и туристу, он месяцами ничего не видит. И при этом – ни капли вина. Надо же, трезвенник. Вспомнились петухи, нафаршированные солидолом и лишившиеся голоса. Вспомнилось колдовство над водкой и как сосед едва не рехнулся от страха. Опять разобрал смех. К такому смерть придет с косою и прочими своими причиндалами, так он и ее рассмешит до смерти. И живет бок о бок с таким вот дерьмом, как этот дынеголовый, и выслушивает от него оскорбления, и вынужден такую-то погань терпеть.

– Скажите, Асеке, а ваш сосед нормальный? У него, по-моему, сдвиг по фазе.

– Это у меня сдвиг по фазе. А у него не голова, а ЭВМ – вмиг высчитывает, где и что можно украсть. Зря его, что ли, поставили заведовать целым отделением лесхоза.

– Но тут не просто жадность, тут патология. Я бы еще как-то понял его, если б у него семеро по лавкам сидели, есть просили...

– А это уже к Господу Богу претензии. Он ведь как: если богатства отвалил, то значит, совести недодал. И потом – при чем тут жадность Тынеке? Будь он владельцем этого скота, другой разговор. А то ведь он радуется за общее дело. Ну, если я скажу, что с ним в долю входят... Да все поголовно! Все – от самого захудалого чинуши до вседержателя районной власти!.. Так ведь если я это скажу, получится вроде навета – и не только на Тынеке. А я не люблю кривотолков и сплетен.

Асеке легонько вздохнул, и было в том вздохе нечто среднее между насмешкой и жалостью к соседу:

– Тынеке стоит у общего котла. Кашеваром. И облизывает, понятное дело, не только пальцы, но и ложку. Оно хоть и горячо, и можно обжечься, но при этом и выловить самый жирный кусок. Со стороны кто на него посмотрит, подумать может: мол, пугалом приставлен к острову, чтоб туда не совался никто. А он не пугало на острове, он губернатор. И за его спиной вся районная рать. Иначе на какие шиши и где бы он взял эти центнеры комбикормов и стога сена, чтоб прокормить гурты, стада и косяки? И смотри, какой он смелый на язык и речистый! Да он пикнуть бы не решился, когда б не чуял поддержку лохматой руки.

– Всё равно не пойму. Сколько б ни было в районе начальства, но ведь не жрет же оно в три глотки? Куда ему столько скота?

– А колхозы? А совхозы?.. Ты думаешь, они все сплошь передовые за счет рекордных привесов и сверхплановых мясопоставок?.. Что тарачишь глаза – непонятно, да?

– Но это же... беззаконие? Где милиция, куда она смотрит? И где, спрашивается, власть?

– Все на своих местах. Хозяин скотины делает вид, что скрывает ее от сельсовета, сельсовет делает вид, что укрывает хозяина от милиции и прокурора. А милиция и прокурор...

– Тоже делают вид?

– А как же!.. Твой шеф, твой старый и седой сэр, было дело, взбрыкнул? Не допущу, мол, беззакония – освобождайте мою землю от этой живой контрабанды. И что – кого трясти начали? Его, голубчика. А ты говоришь... Где власть, куда она смотрит? Лишь бы косо не смотрела. На тебя и на меня. Так рассуждает каждый...

Он снова вздохнул, уже без притворства:

– Будь моя воля, в один день пересчитал бы всю скотину на острове и по акту отправил в спецхоз. Но это – будь моя воля... А как и чем мы с тобой можем окоротить таких вот Тынеке? Или того же Абдыжапара! Они безнаказанно грабят тайгу, обдирают ее как липку, и слова им не скажи, они тут же в ответ: не вякай, а то своих позабудешь. Слышал, как он мне вмазал тут: мол, не забыл с перепугу, где твой родной Туркестан? Что молчишь? Соображаешь, в какой стороне твоя Алма-Ата?

– Соображаю, с чего начинать. Не работа – морока, – откликнулся главный лесничий, который, должно быть, впервые столкнулся с циничными хитросплетениями хозяйственных дел.

По правде сказать, с его точки зрения ни егерь, ни лесничий не соответствуют занимаемой должности – больше того, не соответствуют они и тем представлениям о жизни, которые казались ему необходимой нормой человеческого бытия. Один при хромом коне и единственном одеяле, Бог знает ради чего отказавшийся от самых простых радостей жизни, от жены и детей, во всем разуверившийся и при этом блаженный. Другой ради жены, а главное – ради живой копейки готов пахать день и ночь, не склоняя к подушке своей дынеобразной башки, выпивоха при том и ненасытный обжора, готовый, что ни попадя, всё слопать. Не приведи Аллах связать их вместе – забодают друг друга, а вот, поди ж ты, волей случая свела их глухая тайга под одной крышей, заставила работать считай что в одной упряжке. Помешанный на справедливости и музыке самоуверенный нахал и барсук-жадога, жирный, прожорливый, готовый из дерьма делать конфетки.

– Побывал бы ты раньше на острове. У-у, тысячи гусей и уток, ноге ступить некуда!.. Сейчас тоже некуда ступить: куда ни поставь ногу, обязательно вляпаться в свежий коровий блин. Там кроме скотского навоза – ни-че-го! Дикий зверь туда дорогу забыл. Нет ни клочка путевой земли, которую у нас не оттяпали бы колхозы и совхозы. И остался твой лесхоз – с чем? С носом? А ведь вся эта земля – лесхозовская, все прочие хозяйства здесь сбоку припека, а корежат да топчут ее почем зря: лес трещит от порубок, зверью житья нет от браконьеров. Грабят тайгу, будто здесь стан врага. И пока тайга не станет заказником, ни оградить ее, ни уберечь. Ни от скотины домашней, ни оттого, что хуже всякой скотины – лесников и пасечников нерадивых... Так-то, товарищ главный лесничий! Быстрее вступай во владение этой землей, оборони ее, защити ее от разорения. Или будем ждать дальше? Но до каких же пор?

И, задавая те вопросы, Асеке впился в него, будто клещ, хотя – что мог ответить ему Бекет? Отговориться можно было бы, конечно: на демагогию особого ума не надо, но словеса ли нужны кривоносому? Бекет понимал, какая боль живет в душе этого мученика, который считай что в одиночку пытается бороться за поруганную честь земли алтайской? Уж он-то ее беды знает, посбивал свои ноги на нелегких горных тропах, натер и круп и холку гривастым хребтам в своих хождениях следопытских по тайге... И то сказать: не мог лесхоз по своей технической немощи освоить сотни тысяч гектаров лесного массива, защитить от пожара и всех прочих напастей. И чтоб не быть собакой на сене, отдали разным хозяйствам во временное – а точнее: безвременное! – пользование эти бесценные земли. А у хозяйств психология какая? Временщики – вот и вся психология. За годы и годы даже прутика воткнуто не было, чтобы восполнить урон живому лесу. Ну а те лесопосадки, что были сделаны когда-то, зачахли в сиротстве. О чем мечтает Асеке? Догадаться нетрудно. Он мечтает, чтобы его охотхозяйство было передано лесхозу: соединить две гибнущие друг без друга половинки в одно целое, авось не сгинут – оживут, воспрянут. Не о том же ли самом печется Сигат? Не для того ли вызывал он много раз комиссии – аж из Ленинграда, аж из Архангельска! – чтоб доказать хозяевам края, что бедствует тайга, что на краю она гибели. Хозяевам всё то невдомек, но в верхах уж доподлинно знают, что Алтай с его иссякшими лесными фондами лет двадцать как отнесен к третьей – на грани катастрофы! – производственной категории. Знать-то знают, но вместо того чтобы бить тревогу... хвастают! Мол, восемьдесят процентов лесных богатств республики – на Алтае. Караул кричать надо, а они носы задирают. Как промотавшиеся аристократы – в гордыне напя-

ливают на глупую голову шляпу в страусовых перьях, хотя за душой у них нет и в помине сломанного гусяного пера. Да что там говорить? Все это знает Асеке. И Бекет тоже знает. А вот чего Бекет не знает и никак не может взять в толк, так это имя таинственного композитора, которого доцент консерватории, музыковед потерял в таежной глуши, и сколько лет ищет, и не может найти...

Чтобы успокоить саврасого, который бил копытом в стойле, а точнее – чтобы скоротать бессонную ночь, Асеке задал жеребцу свежего сена, огладил его, потрепал по гриве, похлопал по крупу. Жеребец затих. Асеке вернулся, неся суму. Бекет думал, что это лошадиный корм, но оказалось, что в суме забава не для конских зубов – для человеческих: кедровые орехи. Дескать, раз уж глазами лупаешь во тьму, щелкай заодно и орешки – какое-никакое, а дело.

И по странной аналогии, вкус орешков вызвал в его памяти избушку лесорубов, их прокопченное логово, хотя, сколько он помнит, ночами орехи там не щелкали, не было у них этой блажи. А вот, поди ж ты, вспомнились лесорубы. Встретившись вторично с Асеке, причем встретившись вроде бы ненароком – всё же старые знакомые! – Бекет не мог преодолеть некую незримую преграду между собой и этим желчным умником, забившимся в медвежий угол. Может, поэтому язык никак не поворачивался сказать кривоносому «ты» – «вы» всё же было привычнее. Может, еще и потому накатила вдруг тоска по займке лесорубов, по издевательским шуткам Бескемпера, солоноватым, не отличающимся особой тонкостью – да и никто от него никакой тонкости не требовал! И даже стал желанным на какой-то миг полусырой невкусный макаронный суп. Было тут, должно быть, и чувство вины в Бекете, потому что получилось всё так, словно бы он оставил в дураках всю их команду, начиная с Абдижапара, – обманул тех, с кем по меньшей мере семь лет делил хлеб-соль.

За год одно отделение должно было заготовить – уму непостижимо! – десять тысяч кубометров леса. Откуда, из каких, спрашивается, фондов? Да во всем их лесном массиве – а в Жандысае и подавно – не было столько-то леса, годного под пилу, вся тутошняя тайга никак не случайно была отнесена ко второй категории. Ну, Абдижапар мастак в таких делах, очки он вотрет кому хочешь, и всегда у него шито-крыто, Бекет знал выкрутасы его и уловки. И втихаря инкогнито пристроившись к бригаде Жакупа лесорубом, Бекет за две недели обшарил все ущелья и закоулки Жандысае, вынюхал все потаенные запасы этой хитроумной бестии Абдижапара. Правда, едва не поплатился жизнью. Впрочем, сам виноват – утратил бдительность.

Затесавшись к лесорубам пятым членом их шибко ударной бригады, он палец о палец не ударил, спичинки не переломил. Могло ли то не насторожить Жакупа, не вызвать его подозрений? Бекет ведь что: старался улизнуть с утра пораньше и до ночи рыскал в одиночку по тайге. Жакуп не подал виду, но стал назначать его на всякие подсобные работы: то надо капканы проверить, то тесто раскатать некому – такую, значит, лапшу вешал на уши Бекету, который не предполагал возможность слежки за собой. Бекет и сам был прожженный калымщик, он наизусть знал тайники, из которых берутся шальные деньги, так называемые гонорары, и понимал, что плановые делянки Жакупа – туфта, они лишь для отвода глаз, чтоб леспромхоз не вякал и не возникал. И за полмесяца сумел накрыть, рассекретить места и размеры порубок, содеянных бригадой за полгода. Времена для рвачей были вольготные, и кубометры бревен проскальзывали в глотку калымщиков

будто курдючный жир. Голод на строительный лес был столь огромен, что хозяйства, не глядя, заглывали все подряд, утроба их была ненасытна, Бекет об этом знал не понаслышке. Было дело, и он приобщался к большим «гонорарам»: лес тысячами кубометров валили в глухих и непролазных дебрях, куда технике не было смысла соваться, и тут же на месте сбывали за милую душу. Если ж попадались на крючок лесхоза, то вмиг выплачивали штраф – конечно, из кармана леспромхоза. И ни гу-гу, ни звука, будто всё так и надо. Тайгу вырубают, лес летит как в прорву, лесхоз прогорает и чахнет, а кто-то набивает «гонорарами» мошну.

На макушке Жандысай всё еще плотно лежал старый снег. Закраины его от дождей и теплых ветров стали рыхлыми, водянистыми и, казалось, готовы были рухнуть на дно ущелья от любого шороха. Склон, и без того скользкий от утренней корочки льда, становился и вовсе опасным в тех местах, где тянулись каменные осыпи, нога скользила, каменные глыбы от каждого шага ворочались и, стоит поскользнуться, как звезданешься в белопенный водоворот реки со всеми вытекающими из того водоворота последствиями.

Бекет по бревну поднялся к обрыву.

Свежесрубленный лес, сваленный в кучи, оказался молодняком, еще не достигшим стандарта. Бекет высчитал кубометры, занес цифры в блокнот, отметив на карте место порубки, площадь ее. И поставил на Жандысае жирный крест: как лесной фонд Жандысай можно вычеркнуть – технике сюда не забраться, деревья здесь уже не посадить, поле не засеять. Разве что на своем горбу да на вьючных лошадях можно притащить сюда сотню саженцев, но вырастить их на такой верхотуре и в такой дали – гиблое дело. И останется Жандысай теперь одной из пропешин Алтая, бесплодной, бросовой землей.

Сбоку, кружа над кустом желтой акации, застрекотала сорока. Бекету был понятен этот стрекот. Кто-то шел за ним следом, и белобока, взбалмошная, но осторожная птица, беспроволочный телеграф тайги, предупреждала: «Берегись! Рядом враг». Сорока, держась поодаль, с утра не отстает, чуть слышно и тревожно цокает. Ему почудилось, что в него кто-то целится из ружья, по спине побежали мурашки. Он сел на пенек, скинул кеды с взопревших ног, дал минутный роздых занемевшим ступням. Пусть охолонут ноги и проветрится обувь, а заодно и голова остудится, а то чудится Бог знает что. Но страх не проходил. Бекет, затаив дыхание, огляделся. Ни дула ружья, ни соглядатая тайного не заметил. Лишь вдалеке, в горловине ущелья, загружались хлыстами¹ два-три лесовоза. По мельтешению силуэтов у саней, взовших бревна, Бекет узнал Бескемпера, Мишеля и Лесю. Жакупа там не было.

Весеннее полуденное солнце буквально сверлило лоб. Бекет вытащил из планшета кусок картона. Привязал его на лоб козырьком. Снова надел кеды. Но стоило ему привстать, как вновь зацокала сорока, и в этом цоканье была тревога. Если б она попыталась отвести его от падали, от места своего пиршества, она бы садилась подальше и петляла бы, путая дорогу. Нет, сорока врать не будет: она давно уже видит или хищника, или ружье.

Бекет не был охотником, но язык тайги понимал: на опасность у зверей и птиц безошибочный нюх. Теперь уж стало страшно не на шутку.

Опираясь на шест и лавируя между бревен, он стал спускаться вниз, в ущелье.

Он как раз подходил к каменному выступу, здесь надо оглядеться, найти по-безопасней тропку. Но тут сверху, прямо в затылок, раздался свист, за спиной что-

¹ Хлыст – срубленное дерево вместе с вершиной, очищенное от сучьев (спец.).

то ахнуло, затрещало, и тотчас же весь видимый мир задрожал, сдвинулся с места, поплыл. Бекет оглянулся и как в дурном сне увидел летящий на него снежный смерч. Еще мгновение – и на голову Бекета обрушатся пни, бурелом, валуны, они вывалились из снежного крошева как из пасти дракона. Весь Жандысай затрясся, застонал как в приступе безумья. Бекет юркнул за выступ и тут же ощутил как бы ожог у левой руки, она онемела и повисла словно плеть...

...Получасовой сон в тайге заряжает бодростью считай на полгода. А весенней порой большую часть даже этого краткого сна ты погружен в сладкий дурман смолистых запахов: цветут лиственницы, пихты и ели, так что само время сна у Асеке коротко как птичий коготок. Это у Асеке, а у Бекета... Ну-у, Бекет – другое дело: человек, привыкший работать топором, спит как убитый. Стоит голове коснуться подушки, и человек уже дрыхнет, как говорят, без задних ног. Ладно, Бекет ухнул в сон, будто в омут. А что делать Асеке, когда ночь тянет бесконечную тонкую пряжу секунд, минут, часов, когда видения прошлого порой неотличимы от реальностей нынешнего дня? Что делать? А тоже тянуть неустанно свою нить – суровую, но и желанную нить воспоминаний. И стоит лишь на мгновение забыться, заснуть на нарах под небом Алтая, как над тобой раскидывается пыльное, серое небо далекого детства – небо, что осеняло лежанку Асеке на крыше мазанки в благословенном Шолактаме...

...Он проснулся оттого, что его тянут за ноги. У кромки крыши маячила голова Иранбака. Асеке одним взглядом охватил ночное небо над собой, сквозь сон подумал: Венера не взошла, и из ковша Большой Медведицы еще не вытекло все время ночи. Спешить некуда, за лошадьми идти рано, спать можно дальше.

– Проснись, Асеке, проснись! – тормошил его зять Иранбак, протягивая ему рубашку и брюки, они лежали в ногах. – Одевайся. Гости заждались.

Когда Иранбаку надо было заставить Асеке сделать что-либо срочное или очень нужное, он становился обходительным и даже вежливым. И хотя племянник валился с ног от усталости – целый день набивал шерстью мешки на складе, и сейчас он хотел спать и только спать, но что-то в этой неурочной обходительности зятя его насторожило. Одеяло, которым укрывался Асеке, было покрыто густым инеем, и лишь от этого одного он зябко поежился и окончательно проснулся. Он спустился вниз и увидел, что очаг еще не погас, что желтый самовар еще торчит наизготовку, готовый пролить чаепитие, и лишь черный казан исчез, его сняли с огня, отправили к дастархану, к гостям... Они появились в сумерках – седой как лунь старик и мужик помоложе, он приволакивал ногу. Мать сказала Асеке, что это близкие родственники отца. Странно, близкие родственники, а он их видит впервые. Ну, пришли – и пришли, ему не было до них никакого дела. Единственное, что занимало его детскую душу, так это возможность перехватить чего-нибудь вкусенького с появлением гостей, а в остальном – есть они, нет их, ему было всё равно. Он не придавал им особого значения, даже когда зарезали единственного козленка единственной козы, которая в семье Иранбака тоже была кормилицей вместе с рыжей коровой. Правда, ему не понравилось то, что лошади под гостями шибко худые, на таких не в гости ездить, а денег просить взаймы. И сами гости были зашуганные, говорили робко и словно бы крадучись, вполголоса, исподтишка оглядывали убранство дома, как будто попали в юрту к богачам. И хотя запах свежесваренного мяса неодолимо манил в дом, но через порог Асеке ступил с неохотой, сердце чуяло какой-то подвох.

Дом с толстенными саманными стенами, будто это не дом, а крепость, был вроде сумы переметной – на две половины с кухней меж ними, которая была заодно и столовой, и местом приема гостей. На этой полосе нейтральной как раз в тот момент и сидели гости, мать примостилась у края стола, всем своим видом выказывая, что она ждет решения своей участи и готова покориться судьбе. Тут же в закутке, за перегородкой из прутьев чия, связанных наподобие циновки, жена Иранбака разделявала вареное мясо.

– Решай сама, – вздохнул между тем старик, продолжая переговоры, которые велись, как видно, с вечера. – Слово за тобой. Всё одно – сидишь у чужого порога, да и ребенок твой еще мал.

Старик жалеючи смотрел на мать. Видно, он не израсходовал все свои аргументы, готов был говорить еще что-то следом. Но, глянув на Иранбака, вышедшего из угловой комнаты с ножом в руках – тоже хлопотал в приготовлениях к дастархану, старик приумолк. Поскольку же невысказанное распирало его, он сделал крен чуток в другую сторону, а именно – в сторону Асхата, переступившего порог гостиной:

– Э-э, ты глянь на него: как он вырос, единственный сын Жаксылыка! Джигитом стал.

При этом старик теребил пальцами бороду, смотрел поверх блюда, которое поставили перед ним, да и поверх Асхата смотрел. Слова – словами, а дело, видать, решалось непростое.

Но от словесной вязи не уйдешь, она непроизвольно ткалась за дастарханом: – Вот так: не успел оглянуться, а стригунок заменил скакуна. Ох-хо-хо!.. Отец твой был достойным мужем, всю родню, и близкую и дальнюю, мог приютить, приветить, взять под свое крыло. Но, видишь ли ты, не судьба...

Асхат слушал его, не единому слову не веря. Разве что в самом начале ком встал в горле, когда старик жалеючи смотрел на мать и размазывал ее беды: мол, сидишь «у чужого порога», «ребенок твой мал», то да сё. А уж когда он запечалился по второму кругу, расцарапывая неотболевшие струпья боли, бормоча о «павшем смертью храбрых Жаксылыке», это, видать, и Иранбаку не глянулось, и он к разварившейся голове козленка, она всего-то величиной с кулачок, положил гостю тазовую кость – тоже крохотную, как чайная ложка, но раздражения при этом скрыть не мог, разве что вслух не бросил: «типун тебе на язык».

А вслух он сказал:

– Аксакал, это я сижу у порога ее дома, – причем для большей наглядности указал на себя кончиком ножа, которым орудовал у дастархана. – Под этой крышей мужчин двое: я и вот он, Асхат, Асеке. Стригунок, как вы его назвали. Но этот вопрос решать не мне, а ему, стригунку.

Чего это он, подумалось Асхату, навязывает мне какую-то честь, которую сам не может снести? Он вглядывался в лица взрослых, пытаюсь понять, чего они хотят от него, но так и остался в неведении. Разве что его напугало осунувшееся, скорбное лицо матери, она сидела, сгорбившись, спотыкающимися пальцами перебирала кисти скатерти. А светлолицый парень, видать, напялил на себя всю лучшую одежду, какую сумел раздобыть. Сидит как жених, исходит потом, глаз не смеет поднять от стола. Словоохотливый старик и так и этак пытается вовлечь его в разговор, лоя для этого малейшую зацепку, но парень – ни гу-гу, как в рот воды набрал. Лишь лицо его, бледное, как исподний бок дыни, не тронутый

солнцем, становится еще бледней, а то вдруг ни с того ни с сего его бросает в жар. Ну, прямо красная девица. Парень явно не в своей тарелке. Пересчитав все ребрышки козленка еще в казане и смекнув, что их куда меньше, чем голодных ртов, Иранбак запер в дальней комнате всю свору своих волчат, оравших как шакалы, и теперь бедняжка мать этой своры то и дело поглядывает на двери, а те хрящи и сухожилия, что от щедрот своих выделяет ей муж, изредка бросая с кончика ножа, она, пронося мимо рта своего, отвернувшись, тайком отправляет обратно на дно казана. Асеке видит всё это, и кусок ему в рот не лезет. Пока Асеке разбирался в собственных ощущениях, черная миска с угощением, уже опустевшая, уплыла от дастархана, и вместе с жалостью к зятю пришло возмущение: чего это ради он так расщедрился? Пожертвовал единственным козленком, чтоб уважить каких-то там родственников, они ему седьмая вода на киселе!..

– Сами знаете, жизнь наша – не сахар, – продолжал между тем старик, когда закончился званый ужин. – Живем не как хочется, а как может. Вот Салаубек недавно был в Ташкенте, на ярмарке... Кстати, Салаубек, – обратился он к бледнолицему молчаливому сыну своему, – ты, помнится мне, положил что-то в коржун для своего брата?

Тут же из коржуна был извлечен положенный туда «кстати» летний костюм, правда что, уже давно одеванный, но один-два раза – не больше! И хоть костюм был уже ношенный, но стоил, пожалуй, столько же, сколько стоил и съеденный козлик.

Костюмчик, следуя обычаю, был брошен седым стариком перед Асхатом:

– Это в знак нашего родства.

И, обращаясь к матери:

– Свои пожелания, свет мой, я высказал. Конечно, ты из знатной семьи, но, надеюсь, нас не отправишь с позором, не заставишь краснеть перед людьми. Нет, мы не пропадем, невест нынче – пруд пруди...

Вот и пруди свой пруд, с неприязнью подумал Асхат, а мне дела нет, с каким цветом лица ты выйдешь из нашего дома. И когда из-за сундука достали таившийся там и появляющийся лишь в такие торжественные моменты медный таз с цепочкой и черный кумган, Асхат, поливая на руки почетным гостям, чуть не ошпарил клешни велеречивого старца. Впрочем, наутро, когда Иранбак стянул Асхата за ноги с крыши, ни старика, ни хромого отпрыска в доме не было. Испарились. Исчезли.

Асхат привел коней, начал запрягать их в телегу. Иранбак объявил, что они едут в город сдавать шерсть, и Асхату захотелось надеть обнову, тот самый костюмчик, который вручил ему старик «в знак нашего родства», а сам, видишь ты, уехал ночью, не простившись. Он сунулся, но вместо костюма получил от матери пощечину.

– Всё из-за тебя! – это она плюс к оплеухе. – Если бы не ты...

В ее глазах стояли слезы, Асхат их видел, он пожалел бы мать, но пощечина жгла ему щеку, тут в пору кто бы его самого пожалел. «Если б не ты!..» – это было большей оплеухи. После черного дедова ножа, на веки вечные оставившего злую отметину в сиротской душе мальчишки, теперь еще один шрам: «Если б не ты!..»

...Плач колес всех телег, а их десять, разносился рыданием над степью. Казалось, голосит в беспомыслии сама земля от нестерпимых мук, будто режут по живому, будто со спины ее кровоточащей шкуры вырезают. Выжженная за

лето яростным солнцем степь слепит глаза желтизной, и нет этому желтому пространству конца и края, и голова кружится от желтой бескрайности, от колесного визга, тележного скрипа и долгой дороги, унылой и монотонной. Лишь у самого горизонта в белесой дымке маячит гора Мынжылкы, единственная точка, о которую спотыкается глаз. Но если на нее смотреть неотрывно, то начинает казаться, что и гора бежит вдоль горизонта. И макушка одинокого дерева, вдруг появившегося посередине степи, кажется обесшвенной, царящей зеленовато-серым облачком над землей. А то вдруг вдали вырастает густой, темный лес, но стоит подъехать к нему чуть ближе, он превращается в заросли сухих колючек. Дорога всё длится и длится. Лежать на мягких тюках шерсти? С непривычки отлежишь бока. Идти рядом с телегой? Но при ходьбе солнце так нещадно палит голову, будто посыпает ее горячими углями. Тогда уж вовсе балдеешь, не соображая, куда идешь и зачем. Нет, думал Асхат, меня в такую дорогу теперь калачом не заманишь, из Шолактама я больше ни ногой. А тут еще эти колеса! Стонут, выматывая душу, и всё одно и то же: «Если бы не ты! Если бы не ты!..» Всё просто: ступицы вихлявших колес визгливо орала, требуя смазки. Асеке в отличие от них помалкивал, но и ему бы два-три глотка воды. Глоток шалапа¹ освежил бы горло, унял бы этот нестерпимый жар. Асеке воочию представил себе и даже услышал, как шалап булькает в бурдюке под боком Иранбака, тот дрыхнет себе на передней телеге, и жара ему нипочем. Но как бы ни мучила жажда, потревожить его Асеке не решается. Другой бы матюгнулся да и разбудил. Но матюгнуться на Иранбака? Даже мысленно Асеке не позволит себе этого – уважает зятя. Пусть отдыхает, пусть спит. А зять, прикрыв глаза густой челкой, развесив портянки и выставив сапоги на просушку, задает храповицкого на всю степь. Вот налети сейчас бандиты на их обоз, разори они все десять телег, он, поди, и не проснется.

Содрав с крупа лошади большущего слепня, Асеке пустил было жужжащую тварь в ноздрию спящего. Но что непомерной ноздре такая мелочь? Слепень бесследно и бесславно канул под мощными сводами храпа, а Иранбак и бровью не повел. Что бы это сделать такое? В конце концов он додумался: завязав петлей качающийся кончик хвоста гнедого, накинул эту петлю на волосатый палец ноги спящего. Лишь после этого вернулся на свою десятую телегу. А у той одна и та же песня: «Если бы не ты! Если бы не ты!..»

Черный старик, когда сердился на внука, был сильно не в духе, обзывал его в сердцах:

– Безмозглый!

Может, он прав? Только сейчас, под влиянием неспешной дороги, Асеке понял всю горечь материнских слез, понял безнадежность и бессилие ее пощечины, ее сокрушенных злых слов. Вспомнился светлицы хромой парень, как тот молчал, бледнел, исходил потом. Недотепа какой-то. Неужто ничего другого, поприличней не нашлось?.. Почём ему, восьмилетнему пацану, было знать все терзанья и муки двадцатипятилетней вдовы? Откуда ему, тогдашнему несмышленишу-привереде, было знать, что годы спустя он будет жить и работать рядом с такими корифеями, как Ситан и Матпуса, Патле и Танымкул, которые светлицы и хромому молчуну в подметки не годятся...

¹ Смесь воды с кислым молоком.

Солнце, весь день как на привязи торчавшее над Мынжылкы, вдруг свалилось за гору. И едва оно свалилось, как гора Мынжылкы оказалась рядом, рукой подать. Тут же надвинулись сумерки, потянуло прохладой. Не распрягая лошадей, а лишь расслабив чересседельники, Иранбак задал им по горсточке корма, пересадил Асеке на переднюю телегу, закутал его в большие мешки («неровен час, продрогнешь») и, разломив лепешку на четыре части, дал четвертинку Асеке, остальное засунул в полосатый мешок, всего-то и отхлебнув глоток коже из торсыка, бормоча при этом:

– В жару, сколько бы ни пил, всё бестолку. Только нёбо иссушишь, а так вот по холодку и вода дает силы.

Он вытащил из-под рыдвана толстенный соил-лассо, нечто среднее между плетью и дубинкой.

– Ну, Асеке, твоя очередь – спи. А я пошел в хвост обоза.

Целый день, подмяв под себя полосатую переметную суму, он спал без задних ног. Ой, ли, засомневался вдруг Асеке, это же невозможно: проспять целый день! Хотя... что может сравниться со сном? Эх, завалюсь сейчас, и пусть хоть из пушек палят, до утра буду спать. Но когда желудок с голоду к спине прилипает, не очень-то заснешь. Трижды рука сама собой тянулась к полосатой сумке, и трижды он одергивал ее. К тому же стоило уйти Иранбаку, навалилось одиночество, а с ним пришел страх. Липкий и вязкий страх, казалось, вместе с ночным холодком сочится из-за горы Мынжылкы.

Зря, что ли, ходят слухи, будто ущелья Каратау кишмя кишат дезертирами, днем они прячутся в горах, а по ночам выходят на дороги, подкарауливают путников и грабят их. Конечно, никто пока не видел дезертиров и, по правде говоря, ни одной скотины в Шолактаме никто ни разу не украл, да и грабить вроде никого не грабили. Может, всё это бабьи выдумки? Бабы как соберутся трепать шерсть, так больше языками треплют... А страшно все-таки. Непроходимые заросли колючек маячили где-то в стороне от дороги, а тут придвинулись вплотную, и словно бы там кто-то шебуршит и неотступно крадется вслед за обозом. Да в этих колючках может укрыться целая банда разбойников и дезертиров!.. А вообще-то – никакая это не банда, просто ветер пришел с Каратау, и что ему, бездельнику, – шастает себе по колючкам, всего-то делов. В ночной темноте нарастал шум реки, Асхат даже вытянул шею, вглядываясь вперед, пытаясь увидеть на дне оврага мерцающую при свете звезд будущую речку. А это вовсе не река, это гулкое ночное эхо вернуло из оврага оглушительный скрип и грохот тележных колес. Асхат удивился: смотри-ка, едет по степи десять телег, а грохот как от большого кочевья. И, оглушенный дурным визгом и скрипом колес, он хотел было нащупать в темноте голову спящего Иранбака, чтоб затаиться рядом с ним и хоть на время отдохнуть от страха, но и сам Иранбак, и его голова запропастились где-то посреди великого ночного кочевья, и в полной безнадежности Асхат шмыгнул под канар с шерстью, спрятался от ночи и нестерпимого шума. Какое-то время он трясся в вонючей темноте, но шерсть источала такой густой запах пота, что спирало дыхание, и через минуту-другую он пулей вылетел наружу. Ему вспомнились слова деда, мол, человек может притерпеться везде – даже в могиле. В могиле может и притерпеться, но под тюками вонючей шерсти – ни за что!

Запрокинув лицо, он жадно хватал ртом воздух, чтоб отдышаться после той душегубки, в которую было сунулся, а ему меж бровей, прямо в лоб, неотступно

светила белая Полярная звезда. Дед говорил, что рядом с ней ищи две звездочки, два вечных спутника Полярной, два скакуна: конь белый – Акбозат, конь серый – Кокбозат. Куда же вы ускакали, верные коняги? Асхат, как выехал из Шолактама, так даже в звездах заблудился-заплутал. И тут дед прав: у родного порога, как за пазухой у Бога, а ушел за порог – позабыл тебя Бог. Вишь ты: даже звездочки родимой в небе не найдешь.

И тут в довершение всего по обе стороны дороги в свирепых зарослях колючек завывали-заплакали шакалы, и сердце зашлось-защемило от жути... А как оно радостно билось утром сегодня, когда Иранбак объявил, что они едут в город. Ну да, сердце билось так, будто предстояло ехать не шерсть сдавать, а на ярмарку, – веселиться, да не на какую-нибудь ярмарку, а на самую большую, Ташкентскую. И сейчас, трясясь на телеге, он пытался убедить себя, что на тюках шерсти лежать всё одно как на мягкой перине. Мягко-то мягко, а не сравнить с крышей хаты Иранбака. С той крыши до неба рукой подать. Лежишь себе, мысленно вышагивая по небосводу – от звездочки к звездочке, привязывая их ниткой одну к другой, чтоб не рассыпались по небу. А луну вроде как пальцами можно ощупать, вымерять и подержать в ладонях. Здесь, в степи, совсем не так. Здесь за телегой сразу – пропасть, бездна. Луна холодная, чужая, звезды тоже как подменили, даже земли не видно – нет земли. Чего проще, плюнь с телеги на землю – э-э, слабо, не доплюнешь. А сердце бьется тяжело и глухо, будто в груди чугунным пестом толкут камень. Сейчас бы заснуть, чтоб не видеть всё это, не слышать. С головой уйти как в омут в привычные сны...

Кто-то будил его, дергая за ногу. А он никак не мог проснуться и машинально, не открывая глаз, шарил рукой у себя в ногах, пытаясь нащупать штаны. Штанов не было, и он сообразил, что не на крыше спит, а на телеге.

– Вставай, приехали!

Вокруг – пыль столбом, дым кизяка, и сквозь эту завесу виден просторный глинобитный сарай с плоской, тоже глиняной крышей. А телег-то, телег – сколько ж их тут! А коней!.. И люди мечутся сломя голову. А ослы рыдают так оглушительно, что хочется зажать ладонями уши. На что уж у них в Шолактаме крикливые ишаки, но они хоть порой отдыхают от собственного ора, а на этих, здешних, будто икота напала, остановиться не могут. Вместе с ушами хочется зажать и нос – вода в арыке вонючая до невозможности.

– Кому бада! Кому бада!.. – вклинился в ишачьи крики мальчишечий голос. Тоненький, синеглазый пацан изо всех сил тащил сквозь толпу ведро воды.

– Нужна твоя «бада»!.. – беззлобно сказал Иранбаак. – Сами стоим, будто нас из ведра окатили. Ну что уставился?

А пацан как совенок – луп-луп глазами, отвести их не может от лепешки в руках Иранбака.

– Чей будешь-то? – спросил Иранбак по-русски, сменив гнев на милость.

– Эвакуированные мы.

– Как звать-величать?

– Лешка.

– А по батюшке?

– Лексеич.

– Ишь ты – Лексей Лексеич! – удивился Иранбак. – Слышать не слышал, но всё одно – свой человек.

Он разломил лепешку пополам, долго рассматривал два ломтя, решая какую-то, видать, нелегкую задачу, при этом изредка взглядывая на незадачливого водоноса. Потом вручил Асеке причитающуюся ему долю, а оставшийся ломоть разломил пополам еще раз:

– Чё стоишь? Подходи.

Рыжеголовый повесил кружку на ушко ведра, подошел к телеге. Причем без тени смущения. Он не ринулся к протянутому ему куску, а вначале взобрался по спицам колеса на мешок, вытер ладони о рубаху и уж потом взял вожделенный ломоть да еще сказал «спасибо».

– Ты, Алексей Алексеич, оказывается, мужик степенный. Ну, садись рядком да поговорим ладком: откуда сам будешь?

– Смоленские мы.

– Смоленск, Смоленск... Нет, не бывал. Батька на фронте?

– Ну. Воюет где-то.

– Почему – «где-то»?

– Да пропал он без вести. Уж третий год.

– А может, не он, а вы пропали? А он и не знает, куда вам писать.

– Наверняка не знает.

– Не наверняка, а точно... Да ты ешь, ешь.

– Дядь, а дядя! Можно лепешку в карман?

– Это зачем? Или ты беспризорный?

– Братишка у меня, малой. А мама здесь, на сортировочном работает. Сразу в две смены. Днем здесь, а вечером недоучек русскому обучает... тех, что на фронт отправляют.

– Ох-хо-хо! Времечко... Терпи, мужик. Вот придет фашистам капут, тогда и заживем. Ты кружку-то доставай, коже будем пить.

Из всего разговора Асеке понял разве что «без вести пропал» да «фронт». Он не то что разговаривать по-русски не умел, – он русского-то увидел впервые. И очень удивился при этом, как хорошо Иранбак чешет по-русски. Но от того, что сам он помалкивал, его авторитет в глазах конопатого-рыжего, как выяснилось позже, значительно вырос. Асеке смекнул: ведь Иранбак работал какое-то время десантником на свинцовом руднике, потом уволился по состоянию здоровья и перекочевал в аул. Вот у него откуда знание русского!.. Но тут Алексей Алексеич, отведав коже, стал нахваливать напиток, тоже обнаружив знания в казахском.

– Так ты и по-казахски говоришь?

– А что? Могу и по-казахски попросить кусок хлеба.

– Да, ты с голоду не пропадешь.

– В казахской школе я учусь. Как же не знать языка?

– Ну-у, настоящий джигит. Тогда знакомься с другим джигитом. Вот он сидит: Асеке-мыкты¹.

Алексей Алексеич как взрослый пожал ему руку. Ладонь была сухонькой, и пальчики напоминали тоненькие ветки саксаула. Эх, подоить бы ему с недельку корову, подумал Асеке, попить бы молочка парного, улетучилась бы вся его худоба, и рожа и кожа тогда б не шелушились и дрябло не морщились, как у старика. А по-казахски он и вправду трещит не хуже, чем по-русски. И, смотри-ка ты, не побоялся пойти в казахскую школу...

¹ Прочный, крепкий, сильный (каз.).

А пыльный город был хоть и большой, но невзрачный и серый – хуже, чем их Шолактам. Нет, правда, сплошь развалюхи какие-то. Как здесь люди живут? Их шолактамскую собаку тут привяжи, она не выдержит – сорвется с привязи, сбежит. Глухие дувалы, ни ворот, ни калитки не отыщешь, и тоже глухие стены хмурых саманных домов, в них вроде ни дверей, ни окон – стоят, отвернувшись от улиц. То там, то здесь пытаются из-за дувалов выбраться полуиссохшие костлявые верхушки тополей, а меж ними жмутся корявые, полупридушенные теснотой урючины и чахлые кусты джиды. Люди тоже под стать домам и деревьям, замороженные, исхудавшие, хмурые – у них, поди, не то что улыбнуться, высморкаться нет силенок. Одно лишь доброе лицо и обнаружилось, Алексей Алексеич... Асеке тогда и мыслить не мог, что придет время, и он вот с этим рыжеголовым, синеглазым Алексей Алексеичем будет бок о бок пять лет учиться в институте, потом два года набираться мудрости в аспирантуре, живя в общежитии, в одной комнате, делясь последним сухарем и миской жидкого супа. В ту минуту, глядя на тощенького тонконового пацана, едва ли кто мог подумать, что он станет когда-то крупным музыковедом, знатоком казахского фольклора, его собирателем.

– А как ты думаешь, Алексей Алексеич, сколько сейчас времени?

– Наверно, близко к девяти, – и он покосился на солнце.

Иранбак, повинаясь его интуиции и тоже глянув на солнце, достал свои часы на цепочке, завел их. Сочувственно посмотрел на тяжеленное ведро Алексей Алексеича, вздохнул. Тот, видать, тоже смотрел на грузные, неприподъемные тюки Иранбака, сочувствовал ему, желая хоть как-то упредить его о тех подводных городских камнях, на которых может крепко потреть их обоз.

– Дяденька, что я вам скажу, – опять заговорил он по-русски. – Тут грузчиков полно, они все будут навязываться к вам. Скажут, что наняты приемщиком. А вы гоните их взащей. Они все ворюги отпетые.

– У меня и воровать-то нечего!

– А тюки с шерстью? Вмиг не досчитаетесь.

– Хм, спасибо... Скажи, Алексеич, а какой у тебя дневной заработок?

– Какой там заработок!.. Кот наплакал. На базаре еще кое-какую мелочь можно наскрести, а здесь покупателей нет. И народ тут разный: кто пятак отвалит, а кто подзатыльник.

– М-да, несладкая водица у тебя.

Но разговоры разговорами, а дело делом, Иранбак принялся подтягивать на лошадях чересседельники, и когда он вернулся, Алексей Алексеич уже выпил свое кофе, водичкой сполоснул осадок на дне кружки, бережно допил и его. Ему бы надо подаваться восвояси, а он всё медлил, стеснительно поглядывая на Иранбака, понимая, как видно, что и кусок бесценной лепешки, и кружка кофе с горсткой проса на дне, да в придачу еще теплота и сердечность с уважительным «Алексей Алексеич» стоят куда дороже его мальчишечьего «спасибо», и пытался сообразить, как ему отработать все это. Иранбак сделал вид, что не замечает трепыханий водоноса.

– Слушай, паря, где можно раздобыть костюм на пацана? – он специально заговорил по-русски, чтоб Асеке его не понял.

– На пацана? – но по тому, как Алексей Алексеич уставился своими синими глазами на Асеке, тот смекнул, что речь идет о нем. – За деньги вряд ли. Разве что на обмен, но это на базаре.

О том, что с грузчиками держать ухо востро, Иранбак был наслышан, и он авансом, так сказать, проверил тюки на всех десяти телегах. Вздохнул, готовясь к бою, сплюнул. М-да, ворюг объехать надо по кривой. Но как?

– Слушай, Лексей Лексеич! Будь другом, помоги. Присмотри за обозом, пока я сдам шерсть. В накладе не останешься. Считай, дневной твой заработок у тебя уже в кармане. Идет?

– Да ладно – заработок!.. Я и так всей душой...

Колченогий приемщик, упрятавший под разноцветной тюбетейкой свою зеркальную лысину, долго не подходил к весам. Мордастый черный коротыш – там жир на ряшке, поди, в пять слоев! – он покусывал зубом ус, поглядывал на Иранбака свысока, пренебрежительно, как на незваного гостя, явно кичась своим дырявым, грязным чапаном, будто это халат султана, а не задрипанная роба приемщика шерсти. В глиняном сарае с каменным полом и низкой соломенной крышей не было ни души, если не считать гулко чирикавших воробьев да шуршащего будто черная крыса толстомордого коротышки. И вдруг, Иранбак глазом не успел моргнуть, неведомо откуда, из каких-то дыр повылазили людишки с жуликоватыми холодными глазами, шакальей стаей расположились вокруг. Что-то в них было общее с тем серым вымороченным людом, что крутился по улицам города, неспособным не то что улыбнуться, даже высморкаться, чтоб дышалось легче.

Черный коротыш еще чуток выждал и наконец снизошел к Иранбаку:

– Деньги есть?

– А еще чего – кроме денег?

Иранбак тоже дозревал всё это время и глянул так на коротышку, что тот опешил даже, перейдя в замешательстве на узбекский язык:

– Грузчиклярта туляш кирак та. В смысле: грузчикам надо платить. А денег нет, тогда – натуроплата.

Иранбак в остервенении, молча сунул фигу толстомясой морде. Коротышка был ошеломлен таким ответом, будто никогда не видел ничего подобного. А Иранбак, не тратя слов, стал кидать тюки с телег на весы. Шакалья стая потеснилась в угол, решивши выждать, чем всё это кончится. Грузчики вернулись к прерванному ничегонеделанию, накачиваясь зеленым чаем и бросая угрюмые взгляды на хозяина и на строптивного клиента.

Пока взвесили тюки со всех десяти телег, Иранбак изошел потом. Асеке выводил наружу порожние подводы, а Лексей Лексеич стоял на стреме между весами и очередной телегой, чтобы под шумок не сперли тюк. Ну, не спереть они, конечно, не могли – должны были спереть, просто обязаны, иначе потолок им на голову рухнет. И когда они пытались это сделать, Лексей Лексеич схватил их за руку. То есть он сказал, что этот тюк еще не взвешивали, а толстомордый коротыш звал в свидетели небо, твердя, что тюк уже взвешен. При этом Иранбак и грузчик с рваными ноздрями, терзая тот самый злополучный тюк, дергали его каждый в свою сторону. Коротыш хотел было подсобить рваной ноздре, Лексеич кинулся ему наперерез, но коротыш, нехорошо помянув его мать, ударил пацана, и тот, как скорлупа ореховая, улетел под телегу. Угольки глаз под челкой Иранбака вспыхнули с такой силой, что, казалось, прожгут, испепелят и саму челку, и этот тюк с дерьмовой шерстью и заодно и весы с их чугунными гирями. Рваную ноздрию он резко, двумя ударами по коленям свалил на пол, а волосяной аркан, которым таскали тюки, накинул на толстую шею коротышки. Всё это произошло

в один неуловимый миг, лишь скулы напряглись у Иранбака, да приемщик как хряк захрипел, давясь пеной у рта и собственным языком. Шакалья стоя, забыв о чае, ощетинулась, вскочила, готовая растерзать обидчика.

Но Иранбак, сорвав с пояса желтый нож, подставил его к жирной глотке приемщика шерсти:

– Стоять! Одно движение, и я прирежу этого хряка... Всех перережу, с-сволочи!

Воробьи с шумом ринулись прочь из сарая. И это русское «с-сволочи!» сильнее всех матерков устало шакалью стаю, грузчики так и застыли на своих местах. А у Асеке душа ушла в пятки. Он не грузчиков испугался, ему жутко было смотреть на Иранбака: глаз нет, по-волчьи поджатые уши и разлохмаченная челка. То, что он мог прикончить лежавшего под ногами коротыша, не вызывало никаких сомнений. В сарае повисла мертвая тишина. Лишь низенький гнедой, больно хлопая себя хвостом по облепленным мухами бокам, методично кивал мордой: «Так его! Так его!»

Иранбак ослабил аркан и крепко пнул коротыша в толстый зад:

– Встать, сволочь!.. Оформляй документы. Ну! Живо!..

Приемщик проворно вскочил, но Иранбак успел «угостить» его прощальным пинком:

– Всех поведу в НКВД! Всех к расстрелу, сволочи!..

Коротышка даже на краю гибели не забывал о своей блестящей лысине, потому как он первым делом ринулся за тубетейкой – она отлетела в дальний угол сарая уже от первого мощного пинка в зад. А его приспешники, весь этот жалкий, но зловещий сброд, исчезли мигом при одном лишь упоминании НКВД. Так еще раз пригодилась в лихую минуту русская речь Иранбака...

А на базаре умение Иранбака говорить по-русски оказалось на вес золота. Тут всё переходило из рук в руки. Казахам, русским и узбекам, спекулянтам и тем, кто не умеет торговать никак – стоят, покорно ожидая, когда у них купят вещь втридешева – всем до зарезу нужен был посредник, переводчик, а Иранбак с Лексей Лексеичем оказались в этом деле не просто на высоте – на высоте недостижимой. Они здесь были нарасхват. Помочь людям поторговаться, свести покупателя с продавцом, а то и развести их полюбовно, без ругани. Причем у Лексей Лексеича обнаружился тонкий нюх на то, где, у кого и какой товар имеется в наличии, а уж оценить товар, да так, чтоб не прибавить, не убавить, Иранбаку не было равных. Не попавший на весы тюк шерсти очень скоро превратился в несколько тючков по сорок фунтов каждый, шерсть теребили во всех укромных уголках базара, и всё кончилось тем, что она превратилась во вполне приличный костюмчик, который оказался на плечах Асеке. Ну, может он был и одетый, не без этого, но стоил он никак не меньше, чем козленок, которого пришлось зарезать в честь гостей-сватов, и к тому же был сродни тому костюмчику-подарку, что они, по их словам, привезли из Ташкента. Казалось, он сшит был той же иглой, теми же нитками. Асеке только теперь понял, что его затащили на базар ради этого костюмчика и чтоб он забыл про пощечину матери, но от одного лишь воспоминания щека запылала сильнее.

Иранбак между тем время от времени нырял в какие-то подозрительные фанерные будочки и всякий раз появлялся оттуда все более распаренный и раскрасневшийся. У Асеке голова шла кругом от базарного шума и гама, от кишашего люда и неостановимой суеты. В завершение всего Иранбак привел крепенькую

молодую бабенку и вручил ей последний тючок шерсти, как-то очень уж пристально оглядывая ее тугую грудь, обтянутую кофточкой. При этом бабенка призывно смеялась и чуть ли не по слогам раз десять повторила свой адрес, буквально вдалбливая его в голову Иранбаку и вливая в его разомлевшие уши свой грудной смех.

В тени телеги были выпиты последние капли коже, съедена вся до последней крохи лепешка. Лексей Лексеич налил в торсык воду из своего заветного черного ведра, которое он всё это время считай что не выпускал из рук. Иранбак же, пересчитав мелочь, что удалось выручить за их посредничество на базаре, всю до копейки высыпал в кармашек водоносу:

– А ты, Лексей Лексеич, парень хоть куда: кукиш и без денег купишь, – он похлопал по тощенькой спине мальчонку, – тебе что по-русски, что по-казахски – без запинки чешешь. А вот наш Асеке по-русски – ни гу-гу, даже имя свое написать не может. Подучить бы его, да учителя нет, чтобы русскому обучал. Слышь, парень, а может вы переедете к нам, а? Уговори мать свою в Шолактам перебраться.

Вообще-то каждое предложение своих новых друзей по лепешке, с которыми он, можно сказать, сроднился за полдня, Лексей Лексеич поддерживал с полуслова, а тут оробел, его рыжая головушка на соломенной шейке сникла:

– У-у, это было бы для нее спасенье. Но... – и он еще крепче уцепился за свое ведро, – она ведь преподаватель по химии, а не по русскому. И потом – у нее тут работа, карточка на хлеб...

– Ой, какая разница – химия, физика!.. Русский она знает? Знает. Шантрапу нашу смогла бы обучать? Вполне, – Иранбака, раскрасневшегося от ныряния в фанерные будки, сейчас могла бы увлечь любая идея, и он стал горячо убеждать Лексей Лексеича. – Зарплата государственная – это раз. В деревне жить легче – это два...

– Говорят, в деревнях женщин крадут, – высказал свое главное опасение водонос. – У вас в деревне женщины есть?

Иранбак не просто засмеялся, он заржал, и это ржание было таким утробным и безудержным, что Асеке в какой-то миг перепугался, будто перед ним был незнакомый, страхолюдного вида дядька с густой, будто кошма, челкой, сквозь которую посверкивали налитые кровью глаза.

А тот, вытирая слезы от смеха, простонал:

– Да баб... этого добра у меня полон двор! Да в ауле кроме баб никакой другой твари не встретишь. Так ведь, Асеке?

У Асеке не было желания ни плакать, ни смеяться. От шума, суеты, от купленного костюмчика, который напомнил пощечину матери, его душили слезы, он их сдерживал изо всех сил. От пыли, столбом стоявшей над базаром, першило в горле, слюна во рту имела привкус железа и была вязкой будто клей, язык опух и тяжело ворочался. И эта пыль, и серые глинобитные заборы, дома, и спящие люди, тоже серые, безликие, готовые пойти друг на друга врукопашную, – всё было на один вкус и цвет, всё было одинаково противно.

В полдень, когда тень под телегой сжалась до размеров заячьей шкурки, Иранбак отправился в обратный путь. Из ничего сделав нечто и очень этим довольный, он нашел какую-то зацепку, сумел уговорить Лексей Лексеича проводить их за город. Здесь они остановились. Из придорожного стога Иранбак набил пару

мешков клевером, уложил их под зад Асеке, выпряг одну лошадь, а телегу за оглобли пристроил в конец обоза.

– Значит так, Асеке, ты поезжай потихоньку. А я тебя догоню.

Он сел верхом на лошадь, посадил сзади себя Алексей Алексеича и повернул обратно в город.

Вот и всё. Утонувший в навозе, поперхнувшийся пылью глинобитный городишко остался позади. Асеке казалось, что его калачом сюда больше не заманишь – никогда, ни за что. Он облегченно вздохнул, как бы выметая из души и из памяти все эти грязные чапаны, все эти полустертые как старые медяки лица. Черный коротыш, рваные ноздри, вертлявая бабенка в тесной блузке и в брякающих серьгах... Ему так хотелось попасть в город, но город рисовался его детским мечтам как что-то удивительное, светлое, а оказался скопищем утильсырья. Нет, у них в Шолактаме лучше. И от городской суеты, от пыли, вони, шума он мысленно перенесся в их неспешную, с ленцой аульную жизнь. Там были ясность и покой, там всё было сродни этой чернеющей в сумерках бесконечной дороге, и необъятной степи вокруг, и яркому предзакатному небу. Конечно, Асеке всё оценивал в тех пределах, которые были доступны ему с крыши шолактамской хаты, он еще не смекнул тогда, что город – это не только базарные жулики да кучи мусора окраинных улочек, но это и таившиеся где-то в глубине невзрачных строений сокровища духа и знаний, быть может, и невидимые глазу, доступные не всякому, а лишь тому, кто проявит упорство, отвагу и терпение. Но тогда его впервые поразило несоответствие высоких человеческих помыслов и той убогой, серой жизни, на которую человек обречен. И это несоответствие ему потом всегда и всюду доставляло боль. Он понимал: любое чудо, созданное руками человека, его талантом, рождается на свет в повседневности невзрачного, серого быта. И в том была какая-то несправедливость, в том был обман. Потому что себестоимость чуда оказывалось много ниже его истинной ценности...

Зятя, который обещал догнать его чуть позже, до сих пор не было, и вначале это рассердило Асеке, как явный обман. Ничего себе – «чуть позже!..» Он стал вспоминать всё, что было в течение дня, и в какой-то момент даже порадовался, что зятя нет рядом. Глаза бы на него не глядели! И этого человека я считал сильным, смотрел на него как на скалу, а скала оказалась трухлявой и рассыпалась прямо на глазах. Нырнул он раз-другой в фанерную будку, слышал бряканье сережек и – куда девалась вся его сила? Нет, может, Иранбаку и не стыдно за самого себя: но как я завтра посмотрю ему в глаза? Ну, неловко за него, и всё тут. Да и в отношении к Алексею Алексеичу у Иранбака проглядывали не только душевность и теплота, но и свой, непонятный Асеке, взрослый расчет. В этом синеглазом, желтом как соенок, тонконогом пацане Асеке почуял родственную душу. Он втайне позавидовал его смекалке и тому, что Алексеич в этом городе как рыба в воде. Но теперь и в поведении Алексея Алексеича ему чудился тоже какой-то подвох, ложь взрослого наслаивалась на ложь ребенка, и становилось не по себе, словно и тебя втянули во вранье, оно унижало будто старая нечистая одежда с чужого плеча, которую на тебя напялили силком.

Красное блюдо солнца опускалось за вершину Мынжылки, выставив напоказ свое раскаленное дно, которое, казалось, так и сыпало снопами искр, и разошедшаяся желтая степь полыхала червонным огнем. Горячий ветер трепал степь по ее ковыльной гриве, и ковыль, сколько хватало глаз, переливался на ветру летучим

трепетным пламенем. И начинало казаться, что это не степь, а море огня плещется от дороги и до окоема, проливаясь алыми брызгами и за горизонт. Еще минута-другая, и вечеряющее небо упрячет красное блюдо в свой звездный шкаф, а волны пламени откатят от горизонта и вернуться к дороге уже холодным знобким ветерком. И опустится черная ночь Каратау. А крыши Шолактама замаячат вдали разве что на рассвете.

Асеке вспомнил свое лежбище на крыше шолактамской хаты, и к нему вдруг явилось пронзительное чувство одиночества, а с ним рука об руку пришли и дезертиры, которыми наводнили Каратау бабьи языки. Но вчерашнего стража не было. Была вокруг степь, была дорога, да маячила впереди грива плуговой трудяги-савраски. А уж савраска доковыляет как-нибудь до Шолактама. Так что – побоку страхи, и самое лучшее сейчас – один мешок положить под голову, другим прикрыть ноги, растянуться в свое удовольствие и задать храпака. А утром, всё одно, живой ли, мертвый будешь в Шолактаме.

Небо как-то вмиг обесцветилось, постарело и походило теперь на перекиший айран. Отчего-то запахло гарью. Или это вдогонку пахнуло пыльным ветром из города?.. Куда ж запропастился Иранбак? Нет, не зря вокруг него брякала серьгами та городская красавица. А может, нахлебался зелья и отлеживается в каком-нибудь закутке? Велика ли беда! Говорят, и свинье положен праздник. А Иранбак – разве он не устал тянуть свою лямку? Разве не осточертели ему нытье его драгоценной супруги, голодный визг пятерых детей, не говоря уж о бабах на складе, что с утра до вечера теребят шерсть, они уши ему прожужжали своими сплетнями да перепалками и нескончаемым плачем о безмужнем житье-бытье. Вдобавок ко всему он ведь не хозяин дома, в котором живет. Вот так вот! А ты еще смеешь его осуждать, корил сам себя Асеке. Ишь, разлегся в костюме, будто на тебя его родной отец надел. А ведь костюм этот Иранбак купил, чуть не зарезав колченого приемщика-коротышку да еще заискивая перед сопляком-водоносом. А ну как Иранбака тюкнет какая-нибудь рваная ноздря? С каким лицом явишься ты в Шолактам?

Он и не заметил, как соскочил с телеги. Лишь екнуло сердце. Босая нога утонула в пыли, пыль хранила еще дневной жар, было приятно ступать по дороге, и казалось, что он идет по теплой воде. Ласковое тепло земли успокоило. А может, твердь земная возвращает человеку уверенность, гонит тревогу. И всё равно, на всякий случай, чтобы не искушать судьбу, он хорошенько обругал Иранбака. Говорят, это прикрывает человека от беды.

Извиваясь черной змеей, обоз полз по дороге. Последняя бричка едва виднелась в сумерках. Густой лес колючек, что тянулся вдоль дороги, опять пришел в движение, зашевелился, будто по нему кралась разбойники. Если начать вглядываться в сумерки, по-над землей много пакости всякой может помститься. Лучше в небо глядеть, там не страшно: земля, правда-то, кружится, как бы уходит из-под ног, но не заблудишься, да и душа на месте. Он хотел было заскочить на телегу, да раздумал, решил дожидаться конца обоза. Сонные клячи дремотно тянули, и ни одна из кляч не покосилась даже на него, торчавшего обочь дороги. Девять кляч, десять телег – все в целости и сохранности. Десятая телега как приведение из стародавних времен тащилась позади обоза. То ли ухо пообвыкло, то ли настроение было другим, но сегодня скрип сорока колес уже слышался не как рыданье, а как напевный плач целого оркестра скрипок.

Асеке вздохнул. Кроме Иранбака все были на месте. Что ж, вручим Иранбака самому Аллаху. Асеке догнал саврасую клячу, завалился на свою телегу.

Колеса слаженно пели, будто сама степь играла на кобызе. Откуда-то стал подпевать козой. И хоть крик его был скрипучим, но странно – он не раздражал. Говорят, козой противная птица. Что с того? Если даже и так, то его можно и нужно пожалеть. Говорят, он на кладбище ходит. Но был бы он плохим, духи святых прогнали б его, не дали бы ему кричать у их изголовья... Скрипят колеса кричит козой. И этот скрип, и этот крик – они, наверное, не страшнее покойников, которые молча лежат в своих могилах... И пусть себе лежат. А я лежу тихонько на телеге и звезды считаю. И каждая звезда как серебряный колокольчик, и, если затаиться, то можно слышать, как звезды-колокольчики звенят...

Он не может забыть и никогда не забудет, как они вдвоем с матерью провожали отца на фронт. Со слов матери он знает, что отец был командир, полгода обучал солдат из Шолактама. На нем была, понятное дело, военная «порма» – это уже не только со слов матери, это он помнит и сам. Еще у него был револьвер. И, конечно, в своей «порме» и со своим револьвером он сразу же попал на фронт.

Вот это «конечно» Асеке много позже, уже став взрослым, пытался себе уяснить. Потому что отец работал в НКВД каким-то начальником, имел бронь, его не призвали бы, не прояви он крайней настойчивости. Так или иначе, но колонна сапог, гулко бивших ногами землю: «Ать-два! Ать-два!» – под командой отца отправилась в неизвестность. От отца пришло всего два письма: одно с дороги, другое из-под Сталинграда. Третьим посланием с фронта была та бумага, в которой значилось зловещее: «Пал смертью храбрых».

Отцовское лицо в памяти мальчишки давно бы поблекло, выцвело, как на старой фотографии, если бы не последние минуты, даже секунды прощания.

– Жди, – сказал он матери, – я вернусь. Обязательно...

И еще он сказал:

– А не вернусь, не горюй. И счастья своего не упускай.

Вот и всё, что было им сказано. А звали отца Жаксылык, но даже имя его мальчишка воспринимал как дальнее, слабеющее эхо. Не успел он ощутить отцовское тепло, оно как призрак растаяло в его младенчестве, погасло как тлеющие угольки заката на этом небе.

На этом ли? Сейчас над степью теплый бархат неба, а тогда стояла зима, звезды зябли в вышине. Круглое блюдо луны покрылось трещинами от мороза – задень ее неосторожно звездочка, и луна развалится на части. Закутанный в шубу, он лежал впереди кошевки и слушал звезды, они крошились льдинками, и льдинки падали на землю с печальным звоном, а колеса кошевки тихонько отплакивали дорогу, и казалось, что эти скорбные звуки идут откуда-то из-под земли. Мать тоже тихо плакала, не чуя слез, не вытирая глаз. И по этим слезам он понял, они не просто проводили отца, что отец отправился в ту дорогу, из которой не возвращаются. И когда к ним в дом начальник военкома принес ту бумагу, в которой написано было «Пал смертью храбрых», он и не удивился, а потому и не заплакал: он с самого начала знал, что так оно и должно было случиться.

А небо все-таки одно и то же, только жизнь под ним разная. Вот сейчас – ни кошевки с ее тихим плачем, ни озябших от холода звезд. Сейчас звездам на небе тепло, а то, что разблеялись сорок колес на дороге, так это они просто наслушались за день бестолковый базарный гомон, и нет теперь в их скрипе ни складу,

ни ладу, а так себе – ворчливое бурчание в ночи. И козодой хорош: нет-нет, да и взвизгнет, будто сука, огретая палкой. А только что были и скрипки, и кобыз... Небо смотрело на Асеке, и он смотрел на небо, снова и снова вспоминая последние слова отца, сказанные матери: «Не вернусь – не горюй. И счастья своего не упусти». Ведь сказал же он тогда всё это!..

Ну, то, что девушка в свой час выходит замуж, а замужем должна родить малыша, ему было известно. Казахи, как-никак, скотоводы, и ребенок знает, что его не в камышах нашли, не из-за пазухи достали. Тут ясно всё. А вот про счастье – непонятно. Какое ж это счастье – выйти замуж? Для того чтобы спрятаться за спину мужа? Конечно, он как-никак прокормит. Но, с другой стороны, глянуть хотя бы на жену Иранбака, как она обстирывает пятерых оглоедов, мал мала меньше, да изощряется как может, чтобы накормить того же Иранбака, который возвращается домой с таким видом, будто он все дела на свете переделал. Что она видит хорошего в жизни? С утра до ночи копается в золе у домашнего очага да в навозе колхозного коровника. Зато она – замужем. А вдове, у которой нет мужа, – у нее какое счастье? За подол цепляется ребенок, сирота несчастный, и перед каждым надо заискивать, и каждый походя может унижить. Так счастье эти или горе – замужество? Наверно, ни то, ни другое, а просто положено взрослым жениться – они и женятся, не твоего ума это дело.

А если так, то за что невзлюбил ты хромого парня с белым как лунь стариком, что по своей доброй воле пришли свататься – они в чем провинились перед тобой? И только сейчас он понял, что спугнул счастье матери, и только теперь его безмозглая головушка смекнула, что пощечина поделом, заслужил он ее сполна. Ведь это ж надо – сказал свое веское слово! Да кто ж ты такой, чтобы вякать, решать за взрослых, как им жить не тужить!..

Колесо на одной из передних телег, видать, как-то очень уж по-особому терлось об ось: казалось, оно хохочет от слез, до плача, до изнеможения. Над ним, над Асеке, хохочет.

Мысли были тяжелые, в сердце стояла недетская горечь. Но движение телеги убаюкивало, клевер под боком был мягок и душист, звезды сонно моргали на небе. И пришел спасительный сон...

2

Он проснулся от пения жаворонка. Тот заливался в небе и дрожал на одном месте, будто привязанный невидимой нитью за лапку. Жирный как барсук пятнистый кот алчно смотрел на поющую в поднебесье птицу, он словно бы оцепенел, уставившись в небо и тщетно ожидая, что жаворонок свалится ему прямо в пасть. И вдруг кот, ощетинившись, выгнув спину, зашипев – причем всё это одновременно, – метнулся прочь. Но за секунду до этого раздался грохот пустой консервной банки из-под «Завтрака чабана», служившей пепельницей и запущенной, причем довольно метко, в кота. Собственно, от этого грохота Бекет проснулся по-настоящему, вскочив и не хуже того кота вылупив глаза на Асеке. А тот будто ничего не видел, ничего не слышал. И как улитка выползает из раковины, поводя рожками окрест себя, так и он выбирался из спальника. А выбравшись, он первым делом пошел не к мусорной куче, чтоб отдать малую дань природе, а направился к Савраске, погладил по гриве конягу, похлопал по холке и бережно, будто конь может занозить копыто, повел его на водопой.

Бекет поморщился. Из-за ворота его рубахи разило прокисшей капустой. Это еще с чего бы? В бочку вроде не лазил. И лишь когда заныло плечо, вспомнил про мяту, которую с вечера наложили ему на плечо. О целебности ее говорить рановато, но насчет запахов кривоносый не знает осечек. Не зря он предупреждал: закружится голова – отвяжи припарку, не то, де-мол, очоуришься от таких-то ароматов. Хотя тайга есть тайга, она сама собой лечит, мухомор слопаешь в иной момент – здоровее станешь.

Он с хрустом потянулся. Тело отозвалось силой, отдохнул хорошо, неловко и говорить, что где-то что-то болит.

Низом слоился туман, вершины деревьев курились паром. Из-за холки Конкая выкатилось смеющееся солнце, оно походило на шляпку молодого подсолнуха с обмахившимися краями, с густым налетом пыльцы, она осыпалась, расцвечивая радугу между сопок и сверкая в утренней росе.

Тынеке крутился по двору с рассвета: подтаскивал в корытце корм гусям, уткам, потом кабанам. И теперь, в который уж раз ощутив четыре хрюкающих пяточка в подклети, он стоял середь двора, как горный козел на скале, озирая свои навозные просторы. На Бекета он посмотрел свысока, будто и впрямь стоял на скале. Впрочем, Бекет тоже не горел желанием заключить его в свои жаркие объятия.

– Нет, ну ты глянь на нее: молоко не дает. Вот зараза! – рыжая байбише остервенело тискала вымя полосатой коровы, адресуя свое возмущение мужу. – Слушай, запри их обоих в загон, а то эта бешеная неделю целую будет морочить бугая.

– Ты что, боишься, они без нашей помощи теленка не сделают? – осклабился он. – Это у нас с тобой не получается. За них не бойся.

– А чтоб ты сдох! – и она снова засунула голову в пах полосатой коровы.

Тынеке только хмыкнул в ответ, сел на пень. Закурил, с обожанием глядя на полосатого бугая. Тот выглядел горой, которую обтянули шкурой. Бугай скоблил раздвоенным копытом землю, принохивался к ней своими мокрыми ноздрями, от его шкуры курился пар, будто бугай вспотел уже лишь оттого, что он такой огромный. Что-то его томило. «Ох-ох!» – выдохнул бык и напрягся, и без всякого конфуза, который испытали вчера два петуха, исполнил одну из важнейших своих обязанностей, значительно обогатив навозную кучу и заодно избавившись от части своего томления. Тынеке остался им доволен. У них с быком было, видать, полное взаимопонимание.

– Ну что – седлать саврасого... будем? – спросил Бекет, уходя с помощью этого неопределенного «будем» от необходимости обратиться к Асеке на «ты»: всё же разница в пять-шесть лет была неодолимой преградой на пути злополучного «вы».

– Саврасый вроде бы в норме, но... стоит ли мучить его? – отозвался Асеке.

Самого себя он не пощадил бы ни при какой погоде, но жеребца, свою единственную радость и утеху, он готов был оберегать от всех невзгод мира: он готов был пылинку снять с его холки, муху согнать с его крупа. И в приливе нежности к жеребчику он сгреб коробку овса, что была на сусеке, и принялся провеивать его в суму. – Мать у него казанской породы, отец – орловский рысак, – представил он саврасого Бекету. – Ты не смотри, что он похож на мать, стать у него отцовская. Ходок отличный. А выносливость, скажу тебе... Ему всё одно – что холмы, что равнины. Он разойдется если, то рысь от иноходи не отличишь. А вот горы да камни – тут он, надо сказать, жидковат.

И вправду: грудь у жеребца широченная, с хвоста он ужат, холка длинная – в две вытянутых руки, не меньше. Такой под хомутом ходил едва ли. А грива кудрявая – видать, от матери досталась в наследство. Кстати, тряпки с глиной Асеке уже отмотал, и Бекет, с трудом отличавший верблюжий горб от холки лошади, как ни вглядывался в бабки саврасого, ничего особого увидеть не сумел. Но ему стало ясно при этом, что пока саврасый не позавтракает, ни самому Асеке, ни гостю его – пусть он даже главный лесничий! – не получить ни «ужина туриста», ни «завтрака чабана». И Бекет поплелся во владения, подведомственные Тынеке.

На дверях мансарды висел большущий черный замок, который, похоже, давным-давно никто не открывал. Кордон лесничества и объездчика везде скроен на одну колодку: внизу, как правило, жилье, сверху, под скатом крыши, контора. Всё это сработано основательно, крепко, из бревен лиственяка, стоит неколебимо, годы. Ну, разве что может сгореть. Завфермой был куда как аккуратен в ведении своего хозяйства, а вот лесничий в его лице был никудышный, контору содержал как ни попадя. Ни номера тебе на крыше, ни положенных знаков по углам, ни даже флага. Контора походила на неведомый пикет сомнительного назначения, укрывшийся в глухомани, подальше от глаз людских.

Пришлось ждать, когда освободится завфермой, когда он водворит полосатую корову с полосатым же бугаем в загон, а после проводит стадо к месту выпаса. Уж как он там разбирается в людях, Бог весть, но в скотине он, сразу видно, понимает толк: таких породистых коров не то что у частников – в племенных совхозах днем с огнем не найдешь, никак из Латвии выписаны по спецзаказу. А может, даже из Голландии?.. Сепаратор внизу жужжал уже час битый. Не один десяток фляг через него пропустили за это время! Можно подумать, они молоком тут огород поливают!

То, что наверху кто-то ходит, видать, напугало рыжую подругу Тынеке, что сторожила сепаратор. Она с опаской выскочила из дому, усталилась на Бекета.

– Мне бы ключи от конторы, – пояснил он ей.

То ли она одичала, живя в глухомани, то ли вчерашнее событие выбило ее из колеи, но она, склонив голову, без звука помчалась прочь, забыв свой сепаратор. При этом из смотровых щелей, что были у нее заместо глаз, на Бекета польхнуло таким синим пламенем, что он тут же решил: а родственнички-то по женской линии у Тынеке никак из здешних, из кержаков.

Но сама же обладательница синего пламени в тех смотровых щелях, едва вернувшись, опровергла это мнение Бекета. Вручив ему связку ключей, она предьявила ультиматум:

– Прошу ничего не трогать, ничего не переставлять. Хозяин привереда, с придурью. Он не потерпит.

Причем всё это было сказано по-татарски. Вот-те на! Где ж раздобыл наш Тынеке татарскую родню?..

Дозвониться до лесхоза через райцентр – всё равно что связаться через Луну с соседом, крыша которого маячит рядом. Ну, к соседу можно и пешком сходить, а до лесхоза так вот просто не дотопаешь. Язык отвалится, пока скажешь телефонисткам добрые, а следом и недобрые напутствия, пока не исчерпаешь весь известный тебе набор комплементов и угроз, а гарантии при этом никакой, что тебя свяжут все-таки с абонентом. К тому же вдруг телефонистка – какая-нибудь старая мымра, которая только и ждет, чтоб на тебе отыграться за все свои невзго-

ды. Бекет решил не рисковать, обойтись без посредников. Он не стал подходить к телефону, решительно сел за рацию. И – о чудо! – тотчас же вышел на связь с директором, тот был у себя в кабинете.

– Ассалаумагалайкум, Саке! Жиен вас приветствует.

Господи, какой Жиен – откуда Жиен? Он и сам не знает, как у него сорвалось это имя. Вообще-то был у него такой предок – где-то в седьмом колене – по имени Жиен, а может прозвищем его наградили таким. Но видно дух его витал над Беккетом в ту минуту, когда в целях конспирации пришлось из тайников памяти извлечь это полузабытое – Жиен.

– Наконец-то! – откликнулись из рации. – Где ж ты запропастился? Уехал по снегу, а сейчас, глянь, весна лютует.

– Саке, тут небольшое дельце приключилось. Я в Аюлы сижу, за мной бы машину прислать. И если сможете, уговорите председателя сельсовета приехать. Да не одного – пусть прихватит с собой кого-нибудь из депутатов. Вы меня поняли? Нужны два-три человека из совхоза. Причем компетентных. Чтоб могли подпись поставить под актом о передаче-приеме скотины. Ну и после, когда начнется судебная склока, чтобы они могли свидетелями быть... Мы с Асеке будем ждать вас на острове. Знаете, тут озеро есть – Аршаты, а на озере – остров...

– Ну-у, я смотрю, вы спелись там с Асеке. Мое присутствие необходимо?

– Думаю, нет. Вам лучше в это дело не вступать.

– Понятно. А вообще-то нас это дело касается? Может, мы не в свои сани лезем?

– То есть?

– Может, это все в компетенции органов правопорядка? В конце концов, есть местные власти...

– Что плохого в том, если мы им поможем? Мы что – не хозяева этой земли, этих пастбищ и вод? Или у местных властей рыльце в пушку? Или правоохранительные органы что – неподсудны, с них спрашивать некому? Вот пусть и наберутся духу – скажут, что именно они хозяева скота. Хотя мы сами можем к рукам прибрать эту скотину, отправить в свой подхоз. Что – нет у нас таких прав?

– Ну-у, тут ты хватил через край. Скот надо сдавать в спецхоз – это, как-никак, госказна, мы тут со своим подхозом сбоку припёка. Между нами и спецхозом разница, как между небом и землей, дорогой мой племянничек... Слушай, зачем ты лезешь в чужую свару?

– Может, вы правы, Саке... Да, еще одна просьба. Лесничий Аюлы задом к месту прирос, его бульдозером разве что можно скovyрнуть отсюда. Хорошо бы его освободить от служебных забот да отправить... к теще на блины. Сами знаете, какие. Только надо бы подумать, какой именно дорогой отправить.

– Тут и думать нечего, дорога у него одна – через прокурора. Смотри, не спугни раньше времени! Мне бы очень хотелось в одну соху их запрячь с Абдижапаром... Ты меня понял? Не спугни. А машина сейчас выезжает.

Едва он успел спуститься вниз и навесить замок, как примчался тыквоголовый, весь исходя потом, страхом и негодованием. Он встал у Бекета поперек пути, сверля его глазами и судорожно вычисляя степень опасности, которая ему грозит.

– Простите, Тынеке, – сказал Бекет, причем сказал по-киргизски, явно подражая Асеке, отчего даже самая обыденная реплика звучала издевкой. – Ключ пока останется у меня. В контору не входить. Я там мину оставил.

– За что?! – взвился Тынеке.

– Клопы, знаете ли, завелись... Вы случайно не из Туркестана?

– Какой Туркестан? Что ты мелешь?!

– А вы-то что дергаетесь, Тынеке? Бояться вам нечего, – призвал он было его к спокойствию, но и этот призыв прозвучал у него, как у Асеке, издевательски. – Да, женгей передайте: ничего я не трогал, ничего не переставлял. Она так велела. А то, говорит, хозяин с придурью – мало ли что!..

Глаза Тынеке, и так похожие на плоски, казалось, заполонили всё его лицо. И, неотрывно следуя за главным лесничим, те глаза прошли вместе с ним в беседку Асеке.

– Эй, дорогой, ты кто: турист-молчальник или торе¹-начальник?

Он сел супротив Бекета и с видом, не предвещающим ничего доброго, уставился на него. Мол, если ты турист-молчальник, то я тебя за наглость твою прихлопну как муху. А если ты торе-начальник, то... я вмиг стану мухой. Но не дай Бог, если опять же ты не начальник, то... Не желая никак вносить ясность в проблему, столь мучившую дынеголового, Бекет стал поглядывать на Асеке. Тот как раз водрузил сковороду с ералашем на дастархан и, желая то ли согнать со лба муху, то ли почесать в затылке, приподнял руку, на что Тынеке заорал как ужаленный:

– Убери ладони! Убери ладони!.. – и тут его прорвало, он затрясся, как в припадке, готовый стереть Асеке в порошок: – Это всё ты, ты!.. Твои это козни. У-у, крот паскудный! Подкопался под меня, вынюхал-высмотрел... За что же наказание мне такое? Да будь он проклят, день, который свел нас вместе!..

– А собственно – что случилось? – Асеке невозмутимо вытянул губы трубочкой, готовый высвистеть очередную фугу Баха.

Но то-то и оно, Тынеке сам не мог взять в толк, что случилось, но шельмоватое сердце трепыхалось, чуяло беду, и трясся и орал он от безысходности, надеясь, что криком устрасит кого-то. Может, вот этого – начальника-молчальника?

– Слушай, а кто он такой? Что он себе позволяет?! Сломал, понимаешь, замок, залез в чужой дом...

– Не обращай внимания, – Асеке был как рыба в воде. – Он и не так еще может.

– Как это – не так? Как это – не так?! Да я его... Ишь, чертяка! Пусть он только посмеет!.. – Тынеке поперхнулся угрозами, будто кусок заглотнул шире рта.

– А черт-бедняга тут при чем? Зачем со своей больной головы валить на неповинную голову черта? Ты вот что: сядь, успокойся. Видишь, ералаш готов. Да и зелье твое стоит с ночи, тебя поджидает, – Асеке плечом повел в сторону полосатой сумки.

Но Тынеке как обезумел. Пробежался к своим дверям раз, другой, третий. Лишь присядет в беседке и тут же, будто шило ему в зад попало, вскакивает. Бекет уже готов был выложить ему всю правду, но не успел. В момент очередной пробежки дынеголовому подвернулась под ноги пустая банка из-под «Завтрака чабана», и всю ярость свою он обрушил на эту жестянку, пиная ее и расплющивая, будто это гадюка ненавистная, голову которой надо размозжить, а если не гадюка, то сам Асеке, которого он должен – каблуком, каблуком! – втоптать в землю. Он вошел в раж, как палач при виде крови, он трясся и выл, как нечистая сила, с ним приключилась истерика.

¹ Ирон. начальник (каз.). Здесь игра слов: төріс – турист и төре – господин, начальник.

И тут на него рыжей фурией налетела его родная несравненная жена, она явилась ему на помощь, не зная, впрочем, от кого и от чего его спасать, и теперь к бесноватому вою дынеголового, что бился в судорогах над пустой консервной банкой между двумя дверями, присовокупились вопли его верной подруги. Судя по судорогам, она решила, очевидно, что его постигла та же участь, что сокрушила вчера петухов, рябого и красного, и опасаясь, что он, как те петухи, может сунуть башку в щель под забором – попробуй вытащи ее потом оттуда! – она вцепилась в него мертвой хваткой и орала истошно, стараясь перекричать бесноватого. Какое-то время, вытаращив глаза друг на друга, они вопили дуэтом, и вопли их, видать, достигли ушей самого Господа Бога и, конечно, его оглушили. Потому как он, дабы прекратить все это безобразие, послал им знак свыше: в разгар рукопашной подруга Тынеке лишилась вдруг всех своих рыжих волос – они как стог перепревшего сена свалились у нее с головы, и огненно-рыжая женщина вмиг превратилась в обыкновенную куцехвостую брюнетку с жидкой порослью вместо кудрей. Вообще-то те вопли и выкрики состояли из каких-то слов, но каких конкретно, Бекет понять не мог, хотя было ясно, что семиэтажная ругань была адресована всем семидесяти семи коленам его, Бекета, предков. Когда верные супруги, не прекращая громкогласного дуэта, втащили друг друга в дом, на Асеке напал смех. Он не мог оторвать глаз от рыжего парика, что остался лежать трофеем на поле боя, у дверей. Наверное, впервые в жизни смеялся он от души. Смеялись, впрочем, губы, но не глаза, и щеки кривились в усмешке, хотя нос, кривой нос Асеке, не считаясь со смехом, упрямо держал свою линию.

А Бекету смеяться расхотелось:

– Жалко их.

– Если жалко, не трогай их скотину.

– Да? Откуда подобные сведения?..

– Здесь и у стен есть уши, – кривой нос Асеке указал на мансарду.

– Тогда чего ждем?..

– А куда торопиться?

И пока они уписывали ералаш, пока опорожняли черный чайник, никто рукой не потянулся из-за двери Тынеке за потерянным рыжим стожком. И когда они, взгромоздившись оба на саврасого, уехали, паричок так и остался лежать сиротливо невостребованным трофеем.

3

«Синий куцехвостый» Сан Саныча похож на клячу со сбитыми копытами, к тому же напрочь заезженную, из последних сил своих одолевавшую подъем. И холмик – так себе, не сказать чтобы очень крутой, а двигатель перегрелся, закашлялся, надо срочно его остудить, дать ему передышку. Но и с открытым капотом «куцехвостый», как старый коняга, еще долго всхрапывал и сотрясался мелкой дрожью.

Туман, белой потной ладонью огладивший круп горного кряжа, оставил росу на прошлогодней пожухлой траве. Туман сползал в ущелья, открывая небу еще заснеженные вершины, чистую белизну которых можно было сравнить разве что с целомудренной девичьей грудью, спросонья открывшейся из-под одеяла. Неистребимая травка таежная – куренсе – как весеннюю благодать держала посреди стеблей своих росу, малейшее прикосновение ветра стряхнуло бы ее на землю. Но ветра не было. Воздух был недвижим и прозрачен, и после речной пойменной

сырости, что почти ощутимо давила на плечи, дышалось вольно и легко, как будто в груди открылись неведомые раннее отдушины.

В какой-то миг Бекет почувствовал: вершины холма коснулся мягкий ветерок. Бог ты мой, сколько же запахов нес он с собой! От них перехватило дыхание, защемило в груди, и Бекет, быть может, впервые в жизни понял, что значит запах родины. Возможно, это запах трав – не отавы, а тех, что явились на свет только что, раздвигая отжившие стебли, иссохшие и перепревшие, и покрывая солнечные склоны холмов волнующим бледно-зеленым пушком.

Алтай лежал во всю ширь свою под вечереющим небом и походил на исполинского спящего динозавра с диковинной зубчатой холмой холмов. «Это и есть моя родина, – подумал Бекет, и сердце дрогнуло, и что-то сдвинулось в душе. – Там, в таежных низинах, в селениях больших и малых, живут мои соплеменники, мои земляки». Он всем существом своим потянулся к этим хребтам и всхолмиям, за которыми кроются крыши его родного аула. Он прожил здесь семь лет, не зная, не ведая, что это его родина. И теперь было обидно отчего-то, будто эти семь лет прошли впустую. Казалось бы, чего проще, но даже такой малости не открыл, не поведал ему благоухающий одеколоном отец.

Сан Саныч решительно запустил руку в нутро «куцехвостого», под капот, что-то взбодрил там, подправил. И хоть «куцехвостый» путем еще не отдышался, но его владелец, хлопнув капотом, сел за руль. Надо ехать дальше. Поездка на этой замечательной машине таила в себе неразрешимую загадку: неясно было, в какой момент и где пикап застрянет. По перемене, то раздражаясь, то зевая, Бекет не раз уж каялся, что не уехал верхом с Асеке, что пересел на эту колымагу. Говорят, «конь о четырех ногах, и тот спотыкается», и еще говорят, «не всегда верь коню под собой», имея в виду, конечно же, такие вот чудо-автомобили...

Сан Саныч резко перешел на первую скорость и стал внимательно смотреть вперед.

– Чего испугались?

– Бухтарма, – ответил он ясно и коротко.

Машина шла как бы ощупью по узенькой полоске извилистой дороги, уходящей в глубокое ущелье. Бухтарма открылась вдруг, неожиданно. Сияющая гладь ее распирала узкое ущелье. Нынче река была полноводной сверх всякой допустимой нормы. Говорят, что в низовье даже подо льдом уровень её поднялся на десять метров. Так, чего доброго, она Алтай подмоет и унесет в Иртыш, а там и в Ледовитый океан. Бухтарма и зимой, окованная льдом и снегом, матово-белая, как айран в пиале, ослепляет. А что тогда говорить о живой, освобожденной ото льда, воде, стремительной, студеной и прозрачной, как стекло, под летним благодатным солнцем?! Говорят, «Белый Жаик», «Белый Едил»¹, имея в виду чистоту воды, ее животворность и красоту. Но могут ли они равняться хрустальной прозрачностью с Иртышом, а тем более с Бухтармой? Где еще найдешь такую чистую, прозрачную, такую белую речную глубину, сквозь толщу которой виден каждый камень на дне, и не укрыться в глубине от взгляда человеческого тайменю. А стоит наклониться над речною гладью, и как в зеркале ясном глянет на тебя твое лицо... Но то-то и оно: Иртыш называли Черным, а в названии «Бухтарма» кроется взбалмошность и бесноватость². Вини свой народ! Не хватило ему, как

¹ Название Урала и Волги (каз.).

² Бухтыр – бешеный (каз.).

видно, неистовства, гнева, вот он и очернил этими недобрыми свойствами добрые реки. Кроткий и тихий душой, он дал им не те названия.

Народ, народ... А что я знаю о своем народе?

Есть такая пословица: пока в своем уме, найди дорогу к дому – найди свой аул, своих соплеменников. Ты твердишь сам себе неустанно, что нашел свою родину. Но есть ли у тебя здесь хоть одна душа родная – есть ли очаг, единственный и самый нужный, где ждут тебя, куда ты при любой погоде, при любой беде можешь голову свою прислонить? Отцу твоему это без разницы, он уж тридцать лет как дорогу сюда забыл... Еще человеку желают: «Пусть будут живы те, кто знал отца твоего». Бог ты мой, а ведь живы – и помнят, и знают. Наслушался. Нахлебался по горло. Неужто и я проживу свою жизнь, и про меня потом скажут: «А-а, знали, знали такого», – и ни сочувствия, ни теплоты, ни восхищения при этом. Мне уже тридцать лет, и кое-что я уже знаю о жизни. А ведь всё то, что мне говорили об отце, случилось с ним в моем возрасте. Неужели моя жизнь – повторение пройденного? Нет-нет, она должна быть началом другого пути. Пора, пора уже начинать что-то всерьез. Вот и начал, вот и закрутил...

«Ну, парень, с тобой не соскучишься!» – сказал Сан Саныч. Он смотрел на Бекета во все глаза не то в ужасе, не то в восторге, потому как тот разворошил, пожалуй, целое осиное гнездо. Но подпись свою под актом Сан Саныч ставить отказался наотрез: «Я кучер, пригнавший телегу. Меня в это дело не путайте». Председатель сельсовета, которому, что говорится, карты в руки, тоже стал извиваться как уж, которому наступили на хвост. А что им оставалось делать? Люди они подневольные, живут по указке начальства. Не люди – пешки. Их даже Тынымкул пугает. Чем? А той «волосатой» рукой, которая посадила его на этот остров и которую он готов лизать как верный пес. А вообще-то, впрямь – осиное гнездо. Откуда было знать Бекету, никогда не имевшему дела со скотом, все эти скотские радости! Если не брать в расчет молодняк, телят да стригунков, получилось полсотни коров и столько же лошадей. Уму непостижимо!.. Тынеке, когда его приперли, всё выложил. Всех поименно назвал. Струхнул? Нет, чтобы припугнуть, чтоб неповадно было лезть, куда не следует. И что же? Припугнул. Лишь старуха Саркыт да Асеке кривоносый не испугались – всё как есть подписали. А к ним грязь не пристанет. Пусть пугаются те, у кого рыльце в пушку.

– Вот и ладненько! Хоть раз, а наша подпись тоже пригодилась, – рассмеялся Асеке, подмахнув акт, и в этот раз смеялись не только губы.

Впрочем, что было в том смехе: торжество или издевка над самим собой? «Хоть раз, а наша подпись тоже пригодилась». Какое там торжество! Насмешка и боль человека, давно потерявшего всякую веру. В справедливость, в здравый смысл. Да и в саму эту жизнь, в которой всё шиворот-навыворот, всё поставлено с ног на голову, где ум подменяется ловкостью, решительность – подлостью, а что такое честь и совесть, не знает уж, поди, никто. И человек просто порядочный оказывается на обочине и не у дел.

А собственно: кто ты сам? Кому ты веришь? И можешь ли ты верить самому себе? Когда простого работягу называют «его величество рабочий класс» и при этом не ставят его ни в грош, когда так называемые слуги народа гребут под себя почем зря, не боясь ни Бога, ни черта, ни самого прокурора, когда дураку поручено учить уму-разуму умного, когда такой, как Тынеке, может всех купить

и продать оптом и в розницу, а заодно напугать до полусмерти... Чего ты хочешь добиться и что ты можешь в этом мире абсурда? Кто виноват в том, что Мишель остался не просто рахитиком, но и моральным уродом, что Бескемпир, которому творец дал такие таланты, превратился в заурядного рифмоплета, а Жакып всё больше соответствует своей кличке Таскабак, превращаясь в жестокую и злую погремушку, наподобие той, что таскает у себя на хвосте гремучая змея? А в поисках какой музыки, какого театра явился Асеке сюда, в тайгу? Здесь своя музыка и свои бродячие музыканты – Тынеке и Ситан. Но ведь ты, именно ты встал им поперек дороги... А чем провинилась перед тобой рыжая подруга Тынеке? Она безвылазно живет в тайге, не отрывает рук от коровьего вымени, чуть ли не в обнимку спит со своими бесценными кабанами, а единственная утеха у нее – прищипить рыжий паричок к редким куделькам на голове и красоваться в нем посреди своего скотского царства. Да тот же Тынеке – хапуга-то он хапуга, но ведь встает ни свет ни заря и ложится спать за полночь. Что он – поле твое потравил?..

Но с другой стороны – как жалеть людей, как им верить? И где взять ее, эту веру, в мире безверия? Вот она, что парик свой потеряла у порога, вопила потом, будто в доме покойник, а Бекет ей на волос не верил. И себе он не верит. И «куцехвостому синему», что вроде бы разогнался с горы – ишь, как чешет! – тоже не верит: в любой момент может поперхнуться, заглохнуть. Да и Сан Саньчу за баранкой тоже веры нет: у него и «телега» не шибко-то на ходу, и руки-крюки, баранку держит кое-как.

Показалось, под колесами что-то грохочет. Оказалось, грохочет бетонный мост. И еще оказалось, что мост шатается. А потом оказалось, что шатает его Бухтарма. Мост так себе, коню на скок, а глян-ка, «куцехвостый» никак его не может одолеть. Сильный ветер, что сквозил в ущелье, казалось, опрокинет «куцехвостого», сбросит в реку. И уже не понять: то ли ветер несется над водой, то ли вода гонит ветер. А может встречу течению и ветру, взрезая воду, несется сам мост? Будто весь мир в тряске и грохоте перекачевывает в другое место, и от того кочевья у Бекета закружилась голова. И хоть как называй эту клокочущую прорву воды – «черной», или «белой», «тихой» или «бешеной», но вид Бухтармы в непроглядную темень был действительно грозен и страшен. Зазеваешься вот так ненароком, заглядишься, и закружит тебя и утянет неистовая и безудержная вода. Он и в самом деле засмотрелся на черное стремнистое течение, оно подчинило его своей неодолимой силе, и на какой-то миг он утратил чувство реальности.

Ему вдруг почудилось, что он на самом краю зияющей пропасти, и оттуда, вспучиваясь и угрожая небу, нарастает леденящий душу крик. Крик сгущается, обретает очертания, форму. И Бекет уже видит отца, тот стоит, взобравшись на белую «Волгу», расставив ноги и покачиваясь, потому что пьян. Он размахивает маузером, и ветер гулко разносит режущие ухо слова: «Всех порешу!». У самой кромки пропасти рядом с Бекетом жмутся люди, держа под уздцы лошадей. Людей было много, и впереди всех стоял Тынымкул – при галстукке, и неважно, что галстук поверх телогрейки, а важно то, что венчала дынеголового буденовка, и тянул он за собой – причем на цепи! – черного как смоль бугая. Он тянул его за собой, а женщина в сбившемся набекрень парике вопила, вырывая из рук его цепь, заслоняя телом своим бугая. Тут грянуло: «Порешу!.. Уничтожу!» – и застрочил пулемет, и все, кто там был, ринулись бежать прочь. Но обезумевшие коровы

осатаневшие лошади на глазах превращались в колымаги, вроде «куцехвостого», и в трактора, которые давно пора списать. И вся эта техника, вся эта рухлядь, сталкиваясь и давя друг друга, издавала жалобное ржание и мычала, будто под ножом мясника. Бекет в ужасе сжался перед лавиной конемашин и быкотракторов, сейчас его подомнут и растопчут, надо бежать, но он оцепенел и не мог сдвинуться с места...

Оказалось, всё проще простого: он задремал, и занемели руки, ноги и спина «Куцехвостый» мирно тарыхтел близ коттеджей. И все тело Бекета покалывало и знобило, будто он свалился с ишака.

Глава шестая

1

Снег подновил вершины гор, и на закате они полыхали пламенем, как и беспорядочные груды облаков, что рыскали по небу, хотя им пора было уже убираться восвояси. Закат зажег пламенем и стекла домов, отчего казалось, что в каждом окне висят ярко-красные шторы. Чуть ниже, на гребнях Карагайлы, снега не было, но темные склоны были покрыты белыми заплатами тумана. Белый дождь, точнее, дождь со снегом, шел целую неделю, по тайге ни пройти, ни проехать, все тропы, все пути-перепутья развезло, и тайга как бы сникла, прижалась к земле, сырой и продрогшей, и лишь заоблачные вершины Алтая сияли обновленной красотой.

Заплутавшие облака всё рыскали по небу, грозили холодом, непогодой, небо то и дело жмурилось, было неуютно и зябко. Даже домашний скот, что самодельно пасся за околицей, домой возвращался крадучись, стараясь не скрипеть копытами по схваченной ледком земле.

Бекет неприкаянно стоял у обочины дороги. В ауле был хлопотливый вечерний час, но до Бекета никому не было дела. Из конторы, покашливая, вышел Сан Саныч, тоже неприкаянный и никому не нужный в этот час, но, в отличие от Бекета, еще не успевшего обрасти отношениями с людьми, этот выглядел реликтом, обломком прошлого, которое минуло, а он от него приотстал, замешкался в нынешнем дне. Зная, что и Сан Санычу до него нет никакого дела, и понимая, что тому лучше бы остаться в одиночестве, Бекет в нахальной безысходности приблизился к нему – всё живая душа. Но живая душа восприняла этот жест по-своему, решив, что ее попросят подвезти куда ни есть на «куцехвостом» – тоже еще том реликте! – а подвозить ему никого никуда не хотелось. И он, с постной миной обойдя два раза свою «клячу», буркнул:

– Ну что ты будешь делать, а? Опять масло бежит!.. – и как заклятого врага, жесточенно пнул колесо колымаги. – Надоело.

– Загоните в гараж да заприте, – пожал плечами Бекет. – И без вашей телеги пять машин стоит. Чего зря валандаться?

То ли ему не понравился тон главного лесничего, то ли ему подумалось, что обнаружили его ложь, но он с еще большим недовольством на своем изношенном лице буркнул что-то невнятное, «куцехвостый» взревел как бык и, как бы назло, обдав Бекета гарью и дымом, потрусил в свое стойло, в гараж – Бекет в досаде тоже пнул бы его по колесу, но – не бежать же следом! – лишь выругался зло. И стал смотреть на проходящих женщин.

Тут был полный комплект на все случаи жизни. Были молодки, брошенки, старые девы. Были замужние и на выданье. Контора состояла, можно сказать, почти из одних женских лиц. А за день словом не с кем перемолвиться. К тому же все они, разве что кроме главбуха Менсулу, будто из выводка одного, будто сестры родные – на вид невзрачные, курносые, на работу ленивые. И при этом – покрашенные, намазанные, в побрякушках. А расфуфыренные, будто в гости пришли, а не на службу. Видать, всё, что есть в их гардеробе, напяливают на себя. И с работы иду будто с праздника – чинно, важно, задрав носы. Но, глянув на Бекета, все разом прыснули в кулак, будто штаны у него не застегнуты, и мигом – в разные стороны.

Менсулу закрывала двери последней:

– Ждете кого?

Он твердо глянул ей в глаза:

– Вас.

– Старовата я вроде.

– А у меня слабость такая: на водопой ходить в одно и то же место.

– Это вы зря, – и она повела головой в сумерки, куда только прыснули молодки. – Дорог на водопой – в избытке...

От одиночества она впала в застенчивость или томит ее горе какое? Даже в походке чувствуется робость. С чего бы это? И в обед, когда он зашел к ней домой на чашку чая – нет-нет, никаких разносолов там не было! – она всё одергивала в стеснении подол платья и на каждый скрип на улице испуганно вскидывала глаза. Холостяк – он и есть холостяк, ему невдомек даже то, что у нее грудной ребенок, что ребенок тот без отца. А вот то, что она одиночка, что вырез кофты ее излучает вожделенный жар постели, это он не заметить не мог.

Она как бы хотела приостановиться рядом с ним, но, услышав стук копыт, заторопилась, стремглав ушла от Бекета, будто копытный тот перестук гнал ее в спину.

Верхом на белой лошади подъехал директор. Ему хоть и за шестьдесят, но выглядел он чистюлей и щеголем, тем более посреди непролазной грязи: на штанинах – ни пятнышка, да и на лошади тоже, тем ослепительней ее белизна. Держался он, пожалуй, слишком уж надменно и порой разговаривал так, словно делал великое одолжение, но Бекет не мог не восхищаться им: его манерами, походкой, его, в конце концов, разборчивостью в людях. Хлопнув лошадку по белому крупу, он передал поводья старику-конюху и лишь после этого ответил на приветствие Бекета.

– Ну, что – цел-невредим?

– Как видите, цел.

– А я-то опасался, что тебя растерзали наши девушки. Впрочем, ты привереда, тебе не всякая подойдет. К примеру, как я успел заметить, ты любишь комфорт, – и директор легонько куснул его: – Замашки у тебя, прямо скажем, княжеские.

– Я думаю, человек требует комфорта и внимания не больше, чем лошадь, – на выпад ответил выпадом Бекет. И чтоб прекратить подкалывания, выпустил еще один деревянный патрон: – Если я вас обременяю, мне недолго уйти. Шмутки в охапку и...

– Та-ак. От скромности ты не помрешь. Такого сбей с ног, он лежа отстреливаться будет, – Сигат изучающе осмотрел его с ног до головы, усмехнулся и осторожно, чтобы не увязкаться в грязи, ступил на дорогу. – Ну, молодость на

то и дана, чтобы лишать покоя девушек. И самому порой его лишаться. Но не дай Бог на старости лет судьба пошлет тебе такой подарок, привяжет к юбке.

– Да, не позавидуешь... – уклончиво откликнулся Бекет.

Окно Менсулу было задернуто короткой белой занавеской. И хоть было не так-то темно, однако в окне горел свет. Бекет вспомнил вожденную хозяйку дома, у которой чаевничал днем, вспомнил, как она сидела будто на иголках, как ее бросало то в жар, то в холод.

И как раз проходя мимо ее окна, Сигат оборонил:

– Меня, значит, жалеешь. А сам-то медлишь почему? Засватал бы кого-нибудь, облегчил бы женскую ношу лесхоза...

Брошено между прочим, но, видно, не случайно под окнами Менсулу. Дескать, не положил ли ты на эти окна глаз?..

Директорский особняк в два этажа был чопорен. Ни клетушек рядом, ни сараев, ни пристроек. А значит, никакой домашней живности. Мол, тратить себя на подобные мелочи нам недосуг. Бекет обитает здесь уже целые сутки. Ему, травмированному, было велено проживать тут. Плечо, побитое камнями, и впрямь воспалилось – порой казалось, левая рука отнимается, так было больно. Видно, мышца порвалась, еще спасибо, кость не сломана. Хотя как мяту стал прикладывать да мази мазать, опухоль, похоже, начала опадать.

Сигат, в прихожей сняв пальто, стал умываться. С полотенцем явилась дочь Меруерт, молча коснулась губами висков отца, так же молча унесла одежду. В недавних словах Сигата о женщинах проскальзывало раздражение, а точнее, досада на Создателя, что не даровал он Сигату желанного сына.

А дочь у него была на редкость обаятельной, тревожащей воображение мужчин. Неопытный в делах сердечных, Бекет, чтобы не искушать судьбу, ни разу не решился глянуть глаза в глаза хозяйке дома. Был он, по-видимому, грубоват, неотесан – такой в тайге как раз не пропадет, но с этими людьми не мог сойтись накоротке, подавляли они его своим превосходством. Его, пожалуй, и рубанок не коснулся, а эти были такой тонкой выделки, такого обхождения, что им всё едино, кто гость их – Бекет или сам Господь Бог – прием будет равный, с почетом и уважением. Один раз можно выдержать такое, но если каждый день – тут волком взвоешь!..

– Так вот, вернулся я несолоно хлебавши. Не дали мне рабочих рук, – сказал Сигат, почистив свои перышки и приглашая Бекета в дом. – Ладно, думаю, на нет и суда нет. Но если завтра вам будет нужен кол, ногу свою вместо него не воткнете, ко мне придете за жердями! Ну, а я своего не упущу в таком разе.

С тех пор как обнаружилось, что на Аюлы напал грибок, Сигат не знает ни сна, ни покоя. Ладно бы это был клочок земли, как-нибудь справились бы, но речь идет о том, что черви могут сгрызть всю округу. Надо чистить огнем и прополкой зараженный район, а где брать силу и технику? У лесхоза нет ни того, ни другого. Лесхозу в одиночку браться за это дело – всё равно что плугом пожар тушить. Нужна помощь соседних хозяйств. Директор и поехал «сватать» их через райцентр, но, видно, там ему дали от ворот поворот. Хотя, судя по его настроению, с колхозами и совхозами он все же вел переговоры напрямую и, надо понимать так, что не безрезультатно.

Этот дом малолюден, но в общем-то приветлив, здесь каждому гостю найдется не просто ночлег – здесь ему предоставят отдельную комнату, и гость тут не по-

чувствует себя лишним, он сразу станет как бы частью просторных комнат, мебели, добротных вещей. Что интересно: в доме нет ничего лишнего, что стояло бы просто так, для красоты. Разве что седло, расшитое золотом, оно стоит в большом зале на сундуке – кстати, сундук кован серебром. И еще, тоже кстати и вдруг, начинаешь понимать, что здесь нет дешевых вещей и недорогой, малостоящей утвари. Но, например, соболья шуба и чапаны с норковыми воротниками не сходят с плеч гостей, чужие спины им вроде бы родней и ближе, чем спины собственных хозяев. Ну и все прочие золотые и серебряные побрякушки, имеющие хождение в быту, лежат как попало и где попало, обнаруживая пренебрежение к ним хозяев. Дом, по первости выглядевший скромным, даже аскетичным, оказывался чересчур богатым, и хозяева были равнодушны к этому богатству. В Сигате, которой ничем никогда не восхищался, никому и ни в чем не завидовал, была какая-то изначальная сытость – ему, поди, ни голода испытывать не приходилось, ни жажды. А вещи – что вещи? – обломки минувшей жизни. Что-то осталось от родителей и удивительно точно вписалось в немудреный сельский быт наших дней. Причем изделия из дерева ненасильно соседствуют с железной мебелью, не чураясь друг друга, а найдя друг возле друга свое негромкое место, не мозоля глаза и никак не выпячиваясь.

Все бы оно хорошо, но Бекет, месяцами не вылезавший из пропитанного потом брезентового полушубка, сменяя его временами на дождевик, чувствовал себя неуютно в стеганом, подбитом атласом халате, который хозяин предлагал ему всякий раз перед тем, как сесть за стол.

– Н-ну, дочь Жаке! Кажется, наш гость чем-то недоволен. Смотри, чтобы на столе было всё, что его душеньке угодно, – и Сигат, спрятав серебро волос под шапочку, положил перед Беккетом ножик опять же с серебряной ручкой и фарфоровую тарелочку с позолоченным ободком.

Бекет так и не понял, что означало «дочь Жаке». Какой Жаке, причем тут Жаке: Бекет невольно посмотрел на портрет Джамбула, что висел на стене. Даже не портрет, а фотоплакат в рамке под стеклом. Края местами подмокли когда-то, пожелтели. На голове Жаке был черный мерлушковый борик, а лицо было скорбным, осунувшимся, и под лицом Жаке были впечатаны стихи «Ленинградцы, дети мои!», а это говорило о том, что картинка тоже реликт прошлого, что она перекочевала на эту стену из сороковых годов. Наверное, старец Жаке не слушайно смотрит со стены, есть в нем, наверно, загадка, но сам Бекет разгадать ее не смог, а спрашивать хозяина не стал, тот не очень охотно отвечал на вопросы.

Чтоб заморить червячка, на столе в любое время года и суток имелись казы копченое и карта холодная. Но им ли соперничать с парным мясом ягненка? Бекет, демонстрируя правила хорошего тона, сидел так, будто аршин проглотил, ковыряясь ножом и вилкой в бедренной кости. Сигат не обращал на него внимания: мол, ешь да пей, как тебе вздумается. И дочь не суетилась: подала салфетки да красиво гарнир разложила на тарелках и тоже – ешь, мол, на здоровье. Бекет вспомнил мать: упаси Аллах, если у кого-нибудь еда в тарелке остынет, если вилку не так возьмешь да невзначай причмокнешь, она своим занудством не только себе – всем за столом испортит аппетит. Хорош был и отец – он впадал в бешенство, если не было за столом хотя бы одного из членов их семьи. Тоже зануда! И чего он добился, пересчитывая их всех трижды на дню? А того, что все чуть подросли и как от чумы разбежались от дома родного. Ладно племянники и племянницы, что кормились в их доме, их понять можно. А из пятерых сыно-

вей – Бекет был старшим – лишь последыш сейчас при родителях, и то потому, что не встал еще на ноги, учится в школе. Остальные – кто где. Отец всю жизнь цеплялся за свое служебное кресло, тратил на это весь свой запал, а на родную семью кроме занудства за столом у него не хватило ни сил, ни времени. Бекет по тайге мотается, один из братьев – артист массовки, тоже перекаати-поле, другой сапожник, тюкает молотком в фанерной будке с надписью «Артель имени Шаумяна», а третий... третий в трудовой колонии, уму-разуму набирается. И все они – и он, Бекет, тоже! – эгоисты отъявленные, каждый думает о себе. А ведь росли в доле, ели и пили вдоволь, и одеты были на загляденье другим. А выросли уродами: ни талантов особых, ни целей высоких. Едва оперились – и кинулись в погоню за длинным рублем... Он остро ощущал свое плебейство, сидя сейчас за дастарханом в обществе этих двух чопорных, знающих себе цену людей.

Из-за того, что проклятый нож всё время скользил по разваренному позвонку и скрежетал о тарелку, Бекет, отчаявшись, взял кость в руки, но тут же и смутился: глотать кость принародно было неловко. В конце концов он отодвинул от себя это чертово блюдо и, не зная куда деть руки, тупо уставился перед собой, как тот поросенок на привязи, который не может дотянуться до корыта. Странно, у них что – не принято подавать к мясу бульон? Он и тут оплошал, забыв, что парному ягненку бульон сопутствовать никак не может. Наконец, он вынудил подать ему большую чашку холодного кисломолочного продукта – он толком и не разобрал, что это было, но чашка оказалась слишком большой, налили ее до краев, и ему пришлось выдуть все до дна. Отчего-то стало обидно, как в детстве, будто его кормили из-под палки. А Сигат, как ни в чем не бывало, демонстрировал свою аккуратность. Ножом он действовал, как скальпелем, извлекая из недр кости самые аппетитные кусочки мяса, но при этом еще и раздумывая, стоит ли их есть.

– Если гость сыт, мы тоже сыты, – он вопросительно глянул на дочь.

И та ответила в тон отцу, одарив гостя улыбкой:

– А если гость не наелся, я снова поставлю казан на огонь. Согласны? А пока отдохните немного.

Вот улыбка! С ума сойти можно!.. И сама она крупная, рослая. Баскетболистка. Он искоса глянул на ее лицо, и не нашел в нем сходства с Сигатом. Наверное, у матери была русская кровь. А походка – точно отцовская, и повадки тоже, только раскованнее, нет в них той заученности движений, без которой Сигат не сделает и шага.

Оказывается, ничего нет труднее сидеть вдвоем бок о бок, произвольно следить за движениями друг друга и молчать. Пока горячие блюда, а заодно и холодные не покинули дастархана, пока белый самовар и его свита не появились на полированном столе, Сигат ни словом, ни жестом не пригласил Бекета к разговору, а Бекет тоже не мог подать повода.

За семь лет работы и в лесхозе, и в леспромхозе Бекет много раз сталкивался с Сигатом, то ругаясь с ним, то им восторгаясь. Его поражала одна особенность этого человека. Люди, занимавшие вокруг посты – кто ниже, кто выше – то возносились до небес, то впадали в немилость, лишаясь всего. А Сигат, как бы жизнь его не подбрасывала и не швыряла, будто кошка ухитрялся извернуться, приземлиться на ноги и устоять. Да еще сохранить свою невозмутимость и не растерять ни щегольства, ни мудрости. Бекет им восхищался. Он хотел бы ему подражать – во всем, в поступках, в манерах, даже в походке, но не умел лице-

действовать, лишь чувствовал свое плебейство. Сигат оставался загадкой. Они могли сутками быть рядом, но сфинкс не заговаривал о сокровенном, не открывал свою душу. Порой, если ему надо, сядет плечом к плечу и говорит – по делу, от и до. Но стоит заговорить тебе, он порой так глянет, что все твои веские доводы становятся трухой – от одного лишь его взгляда.

И сейчас Бекет был уверен, что весь этот долгий ритуал с ужином, с чаепитием есть приготовление к большому разговору. Ведь привез же он новости из района! А Сигат вдруг опрокинул пустую пиалу и баста – будто прихлопнул пиалой весь этот вечер:

– Ну, дочь Жаке! И поститься, и намаз совершать, говорят, лучше на сытый желудок. Так что стели нам постель. С Богом отойдем ко сну.

Меруерт не из тех суетливых и шибко деятельных женщин, что словно следят за гостями, когда те выйдут из-за стола, чтобы тут же кинуться мыть чашки, ложки, поварешки, забыв при этом гостей. Нет, для Меруерт гости были важнее грязной посуды. Она сразу же пошла на второй этаж стелить постели. Она поднималась по ступеням, а он невольно смотрел на ее ноги, они ступали мягко, но уверенно, и были, может быть, чуть полноваты, но при этом стройны, и их полноватость говорила не о грузной фигуре, а скорее о породе, потому что они взмывали к крутым сильным бедрам, и он с хищным мужским бесстыдством отметил упругость ягодиц, что двигались при каждом ее шаге, и удивительно тонкую талию, его в жар даже бросало, настолько ясно, почти осязая ладонью, он представил себе шелковистость и тепло ее кожи. Голова ее при этом горделиво покоилась на высокой слегка изогнутой шее, и что-то было в той надменной линии шеи и головы от молодой изящной лошади самых благородных кровей. Она, конечно же, почувствовала его голодный взгляд, но не смутилась, шла как ни в чем ни бывало, неся свои прелести и совершенно не выставляя их напоказ.

2

Дул ветер, но воздух был настолько влажен, что не слышалось даже шороха качающихся деревьев. Временами сквозь тучи проглядывала луна, освежая горные хребты, ошетилившиеся макушками кедров и елей. Издали они напоминали ежей. Целое колючее воинство тянулось от горизонта, карабкаясь выше и выше к совсем уж неприступным ледникам Алтая.

Ночь в самом деле была влажной, дышалось тяжело. Под ногами хлюпало, и холод сквозь подошвы ног пронизывал все тело. Пока Бекет курил свою вечернюю сигарету, Сигат ушел далеко вперед, он даже не оглядывался и, как видно, хотел оторваться от провожатого. Притушив окурки и проводив глазами высокую фигуру директора – тот как раз медленно вошел в конюшню, видать, была у него привычка навещать перед сном своего белого коня-красавца – Бекет не стал его ждать. Зябко передернув плечами, он повернулся к надменному особняку, что стоял в горделивом одиночестве чуть отдельно в стороне от прочих домов, как бы поплеывая свысока на весь прочий поселок да и на луну заодно.

В доме было тихо и пусто. В большом зале, казалось, сами стены стояли на страже покоя и тишины. Обширный стол тоже прибран и так же величав, как всё в том доме. Чтобы не мозолить хозяевам глаза и не привлекать к себе внимание, Бекет на цыпочках поднялся в свою комнату. У тахты, покрытой белоснежным покрывалом, стояла Меруерт.

– Раздевайтесь, – сказала она.

Он засомневался.

– Раздевайтесь! – было сказано снова.

Причем сказано не тем мягким, приветливым голосом, который только что звучал за дастарханом, а повелительно, но в то же время по-свойски, по-приятельски даже. Бекет смутился, но сопротивляться не посмел. Когда он с ноющим плечом прибыл из Жандысая, то сам не смог с себя снять рубаху, Меруерт вынуждена была его раздеть, чтобы сделать перевязку. Потом он еще несколько раз был у нее на приеме всё с тем же плечом, но стеснения преодолеть не мог.

Меруерт долго протирала влажной ватой лопатку и предплечье Бекета, смазывала чем-то щиплющим и жгучим. Прикосновение ладоней было осторожным, щадящим, и хотя плечо ныло и дергало, но по телу разлилось успокоение.

– Какие мягкие ладони, – сказал он.

– Не все же вокруг лесорубы.

– А я не собираюсь говорить вам комплименты, – огрызнулся он.

– Для больного лишнее слово – груз. Вы для меня сейчас не гость, а пациент.

Меруерт работала в здешней больнице врачом, но Бекет, никогда в жизни ничем не болевший, не знал характера врачей. Он решил, что перед ним просто бездушное существо, которое в жизни может проявить к тебе уважение, но при исполнении служебных обязанностей превращается в робота. А Меруерт, сделав спиртовой компресс, наложила повязку и, вытащив пижаму из комода, подала ему:

– Приятных сновидений.

Опять другой тон, опять сказано тепло и по-людски. Он не мог взять в толк, что это свойство профессии: подчинять себе молча любого, кто попал в твои руки, будь то стар или млад. А почему она одна? Ей уж за двадцать. И непохоже, чтобы не было ухажеров. Похоже, ждет, когда встретит любимого... И Бекет в полном смятении стоит между белоснежной пуховой постелью и новенькой пижамой, выданной ему на ночь. Вот так вот: видит око, да зуб неймет. Как говорят казахи, толку что: взял ты ее на руки, посадил на коня, даже ущипнул за ляжку. А уехала она к другому. И сколько хочешь теперь рассуждай про то, что у людей этих странный характер: вежливость отдает холодком, а теплота как обязаловка. Он стоял посреди комнаты, преодолевая желание лечь прямо на пол, на пушистый и мягкий ковер. Но подчиняясь необходимости, с омерзением надел скользкую шелковую пижаму и брезгливо прилег на ослепительно белую постель. Накрахмаленная простыня источала запах снега. И это было хорошо. Сумятица мыслей и чувств ушла, он растворился в том, что называется блаженством и что он давно уже не испытывал в полуодичании своей бродяжьей жизни.

Тахта была сдвоенной, и, понятное дело, соседняя секция пустовала. На ее белой холодной поверхности замерла пуховая подушка. Тень от подушки причудливо изогнулась на стене, и, если верить тени, на соседней тахте тоже кто-то лежит. Лежит и помалкивает, прислушиваясь к твоему дыханию. Бекет с трудом сдержался, чтобы не ткнуть тень в бок...

Советчик не нуждается в словах, они у него в избытке. Бедный отец, он задалбал Бекета наставлениями, но все они были как суры Корана, как строки талмуда, как таблички: «не высовываться!», «не прислоняться!», «не подходить!»). Ладно, никто сейчас не носит эти отцовские заповеди, как талисман,

на груди. Включи радио, раскрой газету – тебя научат, как надо жить. И как не надо. Государство стало нашим всеобщим отцом, оно учит нас уму-разуму. Но, как это ни горько сознавать, Бекету в этом неудобном изменчивом мире всё чаще хочется услышать живое и мудрое слово, согретое родительским теплом. Не нотацию, будь она неладна, не наставление, а простой житейский совет. Чтобы не оступиться, чтобы не ошибиться. Чтобы себя зря не растратить и не потерять. Но кто, где скажет его, это доброе, нужное слово. Как ягненок, потерявший мати и готовый ткнуться в любой теплый пах, он тянется к любой живой душе, которая способна хоть на какую-то отзывчивость. И всё чаще приходит сиротское чувство, что ты потерял свое пастбище, потерял свой табун. Ну отчего родимый дом при обилии еды и одежды был таким нежеланным, и почему в родительском доме не научили каким-то важным истинам, без которых жизнь человеку не в жизнь?.. И не от того, что его разморило под атласным одеялом, но скуки ради размышлял он сейчас о Сигате, о его тайном и явном превосходстве над людьми, о его непохожести на всех, кого Бекет знал. И тянуло его к той тайне, которую Сигат нес в себе, и отталкивало. И снова тянуло. Еще с той первой их встречи, которую Бекету не забыть...

А был он доволен тем, что ел, пил да набивал мощну. И был он уверен, что едва тайга ему надоест, он от нее отвалит. Была зверская работа. А в промежутках – безделье, красивая жизнь. Барак, осклизлый пол, засаленные карты, небритые рожи калымщиков, опухшие с похмелья. Осточертели карты? Есть Бескемпир, его трепотня, «трали-вали, вы нас звали?» – пять строф, не больше и не меньше, но стоили они ему пяти намазов. Словом, жил – не тужил.

Тот день осенний был бесконечно долгим, как дунганская лапша. И вот, распарывая грязь, на узкой улице забытого богом аула появился тарантас, запряженный парой добротных коней. И восседал на том роскошном тарантасе этот самый Сигат. Был он с головы до пят во всем кожаном, и кожей от него разило за версту, но даже в том запахе был свой особый шик. Он уже и тогда не выглядел моложавым, но красив был, чертяка, и за ним как намагниченные побежали все – и бывалые зубры-калымщики, и необстрелянные новобранцы-стригунки. Одни говорили, мол, «серый» приехал, другие почтительным эхом вторили – «серэ». После Бекет разобрался, в чем была его волчья суть, а в чем он был «серэ». Но это после, а тогда под нож мигом пошла леспромхозовская яловая кобыла – выбракованная, конечно, и забывшие за год запах мяса калымщики наконец набили брюхо – причем задарма. А заодно, опять же задарма, залили zenки – ящики с горячительным были тоже оплачены из кармана Сигата. Причем всю эту заваруху он устроил руками Абдижапара, сам же уединился в обществе аульных стариков, ведя чинную беседу за таким же чинным дастарханом. Абдижапар повизгивал от удовольствия: за вечер он накалымил столько, сколько не всегда удается за месяц. Блаженствовали и опьяневшие от водки и сытости отшельники тайги – хоть один вечер да наш!

А назавтра Сигат показывал свой класс работы. Парней он перещелкал как орехи, сортируя их и выбраковывая безжалостно. Пожилые ему не годились, темперамент не тот. А вот молодые, безусые, едва прикрывшие свои угри пушком, те вставали в особый ряд. Причем рады были и те, кто попал в список, и те, кто избежал столь высокой участи. У Бекета от всего этого непотребства было такое ощущение, будто он блевотиной подавился, он почувствовал отвращение к тому,

что съел и выпил накануне, и он возненавидел директора люто, от души. Он и предполагать тогда не мог, что сам будет пущен в оборот, как золотой червонец. Уже в тот день скрипящий кожей серэ стал прицениваться к нему. Ленивым взглядом он выудил его из толпы и, ткнув в него пальцем, спросил:

– Грамотный?

– С алфавитом знаком.

– Вечером подойдешь.

Рассвет следующего дня встретили в доме Абдижапара. Что значит «грамотный», он понял, когда сел за тринку. Сигат и грамотных и безграмотных раздел догола. Одной колодой дважды не играл. И в проигрыше не был ни разу. Работал на полном серьезе. За всю ночь – ни смешка, ни лишнего словечка. И хоть бы глоток отхлебнул из стопки коньяка, что была налита с вечера. До самого рассвета карта шла ему в руку. С рассветом заглотнул свой коньяк, бросил в рот ядрышко кедрового ореха и, даже не глянув на тех, кто сидел с ним рядом, вышел из-за стола. Да и они глаза поднять не смели, как нашкодившие коты. Многие, опустошив карманы, брякали на кухне пустыми бутылками, ища, чем бы залить тоску-кручину. И когда он вышел во двор помочиться, никто не посмел даже глянуть на деньги, что ворохом лежали на столе. А он, облегчившись, вернулся, и Абдижапар кинулся к нему навстречу, предупредительно протягивая кусочек мыла и полотенце, а тазик с чайником он уже водрузил в переднем углу, чтоб начальство могло сполоснуть себе руки. Руки он сполоснул, а полотенцем побрезговал, стряхнув лишь воду с пальцев. А выигрыш свой, весь этот ворох купюр, тыльной стороной ладони с отвращением пододвинул к ним. Ни копейки не взял. Его лицо, разомлевшее вечером за дастарханом, к рассвету затвердело как железо, в глазах была тоска, губы кривились, будто червь его грыз изнутри. И было видно, он сам себя презирал в ту минуту, будто, придя в гости, он перебрал и уснул не как гость, а как пес в подворотне. Но дело было сделано, он их всех заарканил с помощью карт, всех загнал в стойло лесхоза.

– Теперь вкалывать будете, – он сказал это по-русски, и слова прозвучали резко, как удар плетки. – Вкалывать, мои кроты!

Абдижапар услужливо бросился к нему с его кожаным пальто, но Сигат пренебрег вниманием хозяина дома, стал ждать своего кучера. Хозяйка дома, выжатая, будто лимон, тонконогая, тощая, тарахтела гостю какие-то извинения. Он отмахнулся от нее, как от черной назойливой мухи, а хозяину бросил с предельным цинизмом: «Чем держать во дворе саксаулину, завел бы лучше свиноматку». И уехал.

Свора мужиков осталась грызться у стола. Как стая шакалов, что дерутся у падали, которую оставил волк. А бедный Абдижапар, ему вечно не везло на жен, опять остался брошенкой. С ним беда да и только, кого он не приводил в свой дом! Тут и телка была, и кобыла, и свиноматка, но не прижился никто. Как говорят, с утра не повезет – невезенье до вечера. А у Сигата дурной был глаз на чужих жен, мужики их прятали от серого, он или сглазит, или напроказит, Бекет уверен был: в том, что Абдижапар мыкается бобылем, вина Сигата. Хотя серэ на это наплевать. А серому тем более.

Годы шли, и, как пацаны перебрасывают бабки в своей немудрящей игре, так и людей перебрасывало из леспромхоза в лесхоз и обратно. Бекет часть зимы, весну

и всё лето рубил лес, плоты гонял, ишачил на Абдижапара. А с глубокой осени и до февральских морозов не выходил из удавки Сигата: долбая лунки в мерзлой земле, сажил семена деревьев, возился с саженцами, а затем, давясь едким дымом, гнал из березовой коры деготь и скипидар. Истребив за лето и зиму посильное число деревьев, так что многие хребты и всхолмия походили на облезлую шкуру шелудивой собаки, которую надо бы попросту пристрелить, весной и осенью, как опять же посильное возмещение урона, втыкали на вырубках жалкие прутья. Истребляешь ли ты лес или растишь его – дельцу, который хочет набить кошелек, всё равно. И всё равно не было ни калымщиков, которые разбогатели бы при этом, ни лесоводов, которые удивили бы мир, превратив горные склоны в густые джунгли. А были просто неприкайные люди в пропотевших ватниках с наледью на спине, не знающие ни домашнего очага, ни уюта, не знающие, пожалуй, и зачем они живут на белом свете. И были маломощные и жалкие хозяйства, которые кое-как сводили концы с концами, занимаясь неблагодарным и неблагоприятным делом, не сулящим ни славы, ни почета, ни наград.

Но хоть Бекет поругивает сам себя, обиды на жизнь он не держит. Завидовать никому не завидует, за журавлем в небе не тянется, а вот мечту-синицу упускать не хочет. И повинен в этом Сигат. Он подтолкнул его поступать в институт на заочное. Он сумел разглядеть его в многоликой толпе работяг с лопатами и топорами. Он, дав ему на подмогу нескольких человек, заставил вымерять площадь таежных угодий, чтобы вычислить лесной фонд. Он посылал его таксатором сопровождать комиссии, которые нет-нет, а глядишь, припожалуют из Архангельска и Ленинграда. Он был руководителем дипломной работы. И лишь на защите ее, семь лет спустя после их первой встречи, Бекет узнал, что наставник его не просто директор лесхоза – он аж доктор наук! И, понятное дело, Сигат настоял, чтоб утвердили Бекета главным лесничим. То есть Бекета вели как коня в поводу, ему оставалось только ступать, куда велено, это его порой смущало. В конце концов, мы сами с усами, и надо ли нас так-то опекать. А смущало его то, что Сигат уделял ему столько внимания, ведь они даже не родственники, совсем чужие люди. И когда он думал об этом и осознавал все, что сделано для него Сигатом, его охватывала робость: а ну как он подведет человека, не оправдает доверия?

Когда в институте расхваливали его дипломную работу, приравнивали ее чуть ли не к диссертации, он было уши развесил, поверил, нос задрал. А после оказалось, что и здесь сыграл авторитет Сигата. Зачем это ему? На кой ему сдался калымщик-лесоруб, который только и знал, что топором размахивать?.. А его дипломная работа – беспомощный студенческий лепет! Уже будучи в министерстве, он прочитал статью Сигата и вдруг увидел, что его дипломная – невнятный пересказ двух-трех абзацев той статьи. Он было возмутился и дал понять учителю, что не хотел бы жить чужим умом. На что тот резонно ответил, что своим умом еще успеет пожить, и что дипломная студента – необходимый кирпичик в его, докторской, монографии. Ну, а тема дипломной – так сказать, направление будущих усилий Бекета как диссертанта... То ли он хотел поставить Бекета в полную зависимость от себя, то ли и впрямь давал ему ориентиры, втаскивая в то большое дело, которым был занят сам. И пока парень мучился этими сомнениями, в столицу снова приехал Сигат. Проездом из командировки в Москву, где он уточнял категорию лесных фондов лесхоза Аксу.

Скрипнула входная дверь. Это пришел, наконец-то, Сигат.

Он степенно поднялся наверх, степенно разделся, так же степенно облачился в пижаму и уже налегке лег поверх одеяла. Смотри-ка, подумал Бекет, запыхался серэ. С чего бы это? А может, торчание в конюшне – только повод? Если он действительно был в конюшне, то пробыл там довольно долго, а значит, продрог. Но по нему этого не скажешь. Скорей наоборот, его тело источает не промозглую ночную сырость, а дыхание теплой постели и женского тела. Перед глазами Бекета снова прошла Менсулу. Он представил себе ее грудь, она ему напоминала свежераскатанное белое тесто, тугое и податливое одновременно... Подумать только, человек прожил жизнь в свое удовольствие, снял пенку со всего, до чего дотянуться сумел, а всё ему мало. Пора бы и остановиться, о душе подумать. Или что – после нас хоть потоп? Пока, мол, жив, своего не упущу ни на волос, а сдохну – мне, дескать, всё равно, хоть не закапывайте. Но так нельзя! Надгробный камень не может быть пугалом для тех, кто жить будет после тебя. И найдет ли душа твоя под камнем тем успокоение?..

Сигат вздохнул.

– Пришла бессонница, считай, ушла мужская вольница, – глубокомысленно сказал он. – Старика дальше скотного двора ходить – только душу бередить.

Да? Старому беркуту разве что мыши по когтям, подмывало Бекета съехидничать в ответ, но он смолчал. Хоть и мышей он ловит, но беркут есть беркут. К тому же его удивила принципиальность серэ, он будто читает чужие мысли, слышит, как в душе твоей скалят сомнения. С ним лучше помалкивать, без нужды не вступать в разговоры.

Сигат закинул руки за голову. Тень от локтей крыльями легла на стену, и горбинка носа тоже вычертилась тенью, будто клюв. Ни дать ни взять – беркут, что падает с высоты на добычу. Даже тень его несет сходство с хищником.

Свет луны стал тускнеть – видать, туман лег на поселок. Потемнело и в комнате, силуэты предметов стали зыбкими, почти нереальными.

– Значит, так! – сказал Сигат, и голос его слышался будто с другого конца света. Сон одолевал Бекета. Но у Сигата была бессонница: – Если скажем: двадцать квадратных километров... Не ошибемся?

– Можно пересчитать.

– Хорошо. Отнесем их к третьей категории, так?

– Не выйдет. Там нет такого леса.

– Тогда ко второй. Главное сейчас – не упускать Абдижапара, держать его на крючке. Яснее ясного, конечно, леспромхозу тоже не по зубам всё это. Расчистить тайгу на двадцати квадратных километрах и сделать новые лесопосадки!.. – он в безнадежности махнул рукой. – Но – мы возьмем компенсацию. Штрафом. Рабочими руками. Транспортom. Чтобы очистить Аюлы, вам нужны средства. Понял?

– Не совсем.

– После поймешь. Но уже завтра подготовь все нужные бумаги в облуправление.

Сигат зевнул. Наконец-то!.. Какое-то время он лежал молча.

– Как плечо?

– Не помру.

– Слушай, что ты вялый такой? Как огурец пересоленный... Ты не смей тушеваться! И позиций своих не сдавай.

И опять потащило его на словопрения:

– Ты главное не суетись. Как говорят про молодого зятя: успеешь себя родне жены показать и дать ей курносый себя обозвать. А если обозвали, не дергайся: не один ты рылом не вышел...

К чему он клонит?

– А главное – трезво рассчитывай силы. Не каждый звёзды с неба хватает. Думающий мужик все заранее рассчитает. Это хорошо. Но не надо ждать несметных богатств от своей маленькой жизни.

Он жалеет меня или хочет раззадорить? Не сразу и поймешь по его тону. Он ведь словечка просто так не скажет – поди пойми, что он имеет в виду. Вертелось на языке у Бекета опять же ехидное: «Может, вы меня из ложечки хотите покормить? Или в рот соску сунуть?» Но спохватился вовремя, вспомнив, что он здесь гость, и никто с ним нянькаться не обязан. Хотя от этих чопорных застолий у него с души воротит, а от бесед, когда тебя слушают из вежливости и вполуха, его тошнит.

Наверное, к непогоде заныло предплечье. И напала трясучка на левую руку. Трясется и всё тут, никак не унять. И сон улетучился. Хотелось встать, выйти на улицу. Но нагишом не выскочишь, надо одеться, а это потревожит хозяина дома. И без того, чуть шевельнешься, накрахмаленные простыни начинают гроыхать как жесьть. А Сигат, судя по тому, как он лежит затаившись, явно следит за Бекетом. Вроде того старика, что караулил дочь от гостя. Гость ощупочкой пошел к двери, а старик ему: «Уважаемый, ты что – дорогу к постели своей потерял?» Парень и брякнул ему: «А может, я пить захотел!..» Бекет усмехнулся, тем и доволен был. Лежал, будто спеленутый по рукам и ногам, вроде младенца в люльке. И при этом почем зря себя костерил. Слюнтяй!.. Пешка. Ни характера, ни воли. Он проанализировал вчерашний день и, не обнаружив в нем ничего из ряда вон выходящего, расстроился еще больше... Какое же я ничтожество, Господи! Да по сравнению со мной младший брат-сапожник – натура незаурядная. Личность! Ему дежурную бутылку в своей фанерной будке распить – это же такие препятствия преодолеть надо. И раздобыть бутылку надо, и утаить ее от бабы, она за ним как сыч следит. И ведь раздобывает, утаивает и выпивает! Он изворотливей тебя, щедрее, а на своем кургузом москвичонке – он просто бог и царь. Там, где он, пир горой. Притом ни от кого не зависит, никому не обязан, ни от кого ничего не ждет. Как говорится, ключи от собственного счастья в его же собственных руках. Он и Бекета пристроил в гостинице – на Медео, у катка. Оставаться дома Бекету было – ну немоготу! Его как под рентгеном просвечивали, контролировали каждый шаг. Да пропади ты пропадом!.. А в гостинице – он брат королю, кум министру. Гудел три месяца подряд с друзьями и девицами. Причем брат и на карманные расходы давал ему деньжата, и угощал чуть ли не каждый день...

Хребет Алатау, величаво обрамлявший город с юга, вдруг утратил внушительность и великолепиие: вместо ослепительной снежной чалмы на вершинах явился грязный и драный платок, не чалма – рванье сплошное. Горы дышали тяжело, источая зной и удушливый синеватый дымок. Речушка Кымасар, обычно пенистая и шумливая, едва хлюпала между валунами, вода была мутной, будто через речку перегнали отару. За три месяца, пока Бекет жил на Медео, ни одной зверушки не

мелькнуло в пределах видимости, вся живность словно вымерла. Зато вся округа была утыкана ларьками на куриных ножках – казалось, весь Зеленый базар откочевал сюда со всем своим товаром и прочими причиндалами, вроде пивнушек и дымящихся мангалов с шашлыками. И еще казалось, что весь городской люд покинул душные улицы и устремился в горное ущелье в надежде хоть на какую-то прохладу. Поэтому здешние немногочисленные рестораны и кафе с утра до вечера ломились от народа. Если присовокупить к тому же санатории, дома отдыха и пионерлагеря да на каждом камне по распластавшемуся человеку, то невольно подумаешь, что здесь пасется вся республика.

Администратору гостиницы Капар представил Бекета, естественно, холостяком. Администратор же, молодая и весьма аппетитная женщина, чуть не расшиблась перед ним в лепешку, будто он был по крайней мере спекулянт из Ташкента. Она мигом нашла ему люкс, причем вилась вокруг него кольцами, через каждое слово отчего-то пришептывая: «Ой, жанымай!.. Ой, душа моя!» Как заведенная, честное слово – «ой, жанымай» да «ой, жанымай». Бекет так и не понял, чего это она так стелется перед ним. Должна же быть какая-то причина? Он пригляделся к ней пристальной. Лицо тонкое, трепетное даже, лежит на нем как бы отсвет неяркой восковой свечи, которая вот-вот погаснет с предрассветными сумерками. Неброская косметика скрывала бледность кожи, и уже проступали на лице неумолимость возраста и неизбежность увядания. Кажется, он видел ее где-то. Но где, когда? Нет, припомнить не мог. Было в ее стремительной походке, в пластике змеиное что-то, некая вкрадчивость... Ради такого торжественного случая Капар не решился везти брата в гостиницу на кургузом своем «москвичонке», он до ставил его на отцовской белой «Волге». Причем шофер за рулем, рубаха-парень, лишь увидел ойжанымай, языком поцокал в восхищении: «С куриным нёбом».

Безграмотный в женском вопросе Бекет хотел было спросить, что это такое – с куриным нёбом, но не решился. Это уж после знатоки-курошупы ему объяснили, что бедная курица, схватив зерно, уже не может его выпустить, гортань так у нее устроена. Ну и женщина, значит, бывает с такой же необратимой хваткой...

А дальше пирушка следовала за пирушкой. Как сдаст экзамен, так попойка в ресторане или кафе. Ну, а защита дипломной – это значит банкет... Ох, и потратились Капар с Бекетом, капитально потратились! Впрочем, и не жалели. Собакам пусть достанется то, что утаили от счастья. Но ведь собакам досталось и то, что не утаили. Хоть бы кто оценил то изобилие блюд и напитков, от которых ломились столы и пухли фартуки официанток, не умещая пачки купюр. Вот интересно, кто они – те, кто ел и кто пил за столом? Все закадычные друзья. Бекет их знать не знал. Капару виднее. Наверное, это все сапожники, тем более, что там были армяне, хотя и уйгуры тоже сходили за армян. А этих, в юбках и в штанах вместо юбок, от них глаза рябило, он даже не присматривался к ним. Равно как и они, с подсиненными веками, черт знает с какими прическами, порой стриженные чуть ли не наголо и в ресницах из черного капрона, что ли, тоже не интересовались его именем, не замечали его. Конечно, веселились до упаду, но посреди веселья он оставался один. Конечно, он выходил танцевать, но дамы ему доставались уже увядшие от неудач или, как говорят сержанты, «б/у», уже описанные, пытающиеся это скрыть под слоем штукатурки. Ойжанымай не чуралась Бекета. «Странно, где я видел ее?» – пытался он сообразить среди шумного пира. Самое интересное, ему казалось, что он видел ее голой. Что-то брезжило, как во сне. Эти блестящие

испуганно вскинутые глаза, капризный смех, кокетливое передергивание плечом, стремительная легкая походка, когда ноги почти не касаются пятками пола... Капар привозил с собой целый короб пластинок, грохочущей музыки конца и края не было, у Бекета голова шла кругом и закладывало уши от переизбытка децибел. Ойжанымай, так сказать, без отрыва от производства – она работала администратором как раз на их этаже! – успевала сто раз ввечеру заглянуть, чтоб провальсировать с Бекетом круг. Танцевала она не как остальные, что копытом по полу стучат, трясут грудями, вертят задом. Она порхала как мотылек, была ядреной, будто орешек, под тонким платьем прощупывались такие прелести, что голова могла пойти кругом не только от музыки. Специально, что ли, она рядится в этот тонкий волнующий шелк? Ловя завистливые взгляды, она уводила его на балкон.

– Ой, жаным-ай! Поясок... эта железная пряжка... так давит. Помоги снять, – и смеется, оглаживая бедра и плоский как блюдце живот. А потом, на мгновение откинув свои щупальцы-пальцы, как танцовщица, готовая пуститься в пляс, она, вдруг надломившись, бросала свои гибкие руки ему на плечо. А он лишь ту же затягивал свой солдатский ремень.

– Да обними же ты меня, – дышала она ему в щеку.

– Я всё больше с топором в обнимку, – извиняясь, слегка отстранился он.

– Не съем же я тебя! Ну что ты в самом деле?..

Из люкса доносился посвист Капара. Условный знак. Дескать, «номер свободен, мы ушли». Бекет и сам уйти был бы рад, но его прочно взяли под стражу. Он тоскливо смотрит на растерзанный бульдозером глиняный обрыв в глубине двора, и душа его также растерзана и помята.

– Замерзла... обними.

Бекет гладит ее по голой руке, и рука ее покрывается пупырышками. От вечернего ветра, наверное, а, может, от его ладони, сроднившейся с топором?..

– Какой ты... забавный! – она громко смеется.

Бекет смущается и убирает руку. Который день ему все кажется, что за ним с ойжанымай неотступно следуют чьи-то глаза. И сейчас ему показалось, что кто-то чужой неотрывно смотрит на него. Даже озноб по коже побежал. Но ведь – никого! Они здесь одни.

– Ты знаешь... неловко мне. Нас видят с улицы.

– Тогда пошли в номер.

– Там душно.

– Давай тогда я кресло вынесу.

– А как твоя работа?

– Работа не волк, в лес не убежит.

Она выносит на балкон глубокое кресло, в котором он тонет по уши. У кресла была, очевидно, суровая жизнь. Оно скрипело, и ножки его качались от старости. А ойжанымай садится на ручку кряхтящего кресла, опять у щеки Бекета ее локоть...

– Поменяемся... местами? – предлагает он, чтоб хоть как-то избавиться от соседства с ее коварным локтем.

– Понятно, – говорит она. – И кресло старое, и я уже...

– Неправда, – возражает он.

– Ты о кресле? – усмехнулась она. – Его скоро спишут. Да и меня заодно...

Пора на пенсию.

– Какая пенсия?! – возмущается он. – Тебе и тридцати-то нет.

– Мужчина женщину и в двадцать может отправить на пенсию.

Чего она городит там?.. А она запускает пятерню в его кудри и начинает их лохматить. Ну зачем она так? Он чуть ли не стонет – от истомы и смущения. А она еще теснее прижимается к нему. И щекой, мочкой уха, носом он прикасается к ее тугим и горячим грудям. «Ой, жаным-ай!» – она снова смеется:

– Так и будем ходить друг за другом?

– Друг за другом? С чего ты взяла?..

– Да ты ни на шаг от меня не отходишь...

– Я?!

– А то кто же...

В общем-то, она права. По делу и без дел он топчется у ее столика на этаже. Звонит поминутно из номера, спрашивая всякую чепуху. А то вдруг явится к ней заказать чай со сливками, а сам пялится на ее беломраморные ноги под столом... Мать честная, где ж я их видел? Самое интересное, он не может отделаться от наваждения, что он видел ее голой. Что за бред!..

– Я знаешь чем занята на своем дежурстве? Подсчитываю, сколько раз ты подойдешь ко мне.

И это правда. У нее повышенная страсть к подсчетам. Сдавая дежурство, она пересчитывает в его люксе всё – от наволочек до шкафов. И принимая дежурство, готова пересчитать все вновь – вплоть до щетинок на одежной щетке. Не доверяя чужим рукам, сама каждый день протирает хрустальные фужеры в его буфете. А уж если гости к нему приходят и среди гостей есть женский пол – о-о!.. Тут она берет над его люксом ежесекундную опеку. И не забудет без четверти одиннадцать напомнить: гостям не положено оставаться в номере на ночь. Нет, не грубо, а с сожалением даже:

– Увы, я приношу извинения, но... уже одиннадцать.

Висок Найзакара¹ посеребрил молодой ясный месяц, и черная громада пика замерцала как хрусталь на изломе. При лунном свете не верилось, что пик – творение природы, в нем было нечто рукотворное, как в египетской пирамиде. В свое время Бекет лазил по горам, не видя гор. Иначе давно бы заметил, что черный цвет горной вершины светится в ночи таинственной голубизной. Не случайно, как видно, татары голубой свет называют «зангар», а у казахов это слово означает недоступную, немислимую высоту. Наверное, оба народа взяли слово «зангар» в глубине бездонного неба...

Он всматривался в голубовато-черную громаду пика, подпиравшего небо, и в душе зарождалось неясное чувство тоски по несбыточному и несвершившемуся, по высотам, теперь уж недоступным, наверное, хотя когда-то, на заре отрочества, казалось, что все вершины мира готовы лечь к его ногам.

– Что пригорюнился?

– Да вот – на горы засмотрелся.

– Что ты потерял там?

– Детство.

– Нашел о чём печалиться!..

– Как сказать. Человек всю жизнь свою черпает силы в собственном детстве.

Золотая пора...

– А чем плоха зрелость? Тебе что – скучно жить?

¹ Одна из вершин Алатау: найза – пик, кара – черный.

– Знаешь, в детстве я летал во сне.

– Летай и теперь. Кто мешает?

– Не могу. Разучился. Постарел.

Она вздохнула:

– Человек стареет. А в мире всё остается как прежде.

– Как прежде, – откликнулся он словно эхо. – Здесь, вот тут вот рядом, когда-то стояла турбаза.

– Угу. А на месте этой гостиницы был ресторанчик. Не для всех. Потому что отдыхало тут очень большое начальство.

– Отдыхало, – невесело согласился он. – А помнишь: вот тут, где сейчас розы посажены, стоял коттедж.

– Помню.

– Наши двери открывались в сторону гор, а ее двери смотрели вниз, на город.

– Чьи двери?

– Ее. Одной девочки.

– Подумать только! – удивилась она отчего-то. – И ты, наверное, влюблен был в ту девочку?

– Наверное.

– А сколько тебе было лет, Ромео?

– Тринадцать.

– А ей?

– Пятнадцать.

– Ой, держите меня! Ой – жаным-ай!..

Ее смех оборвал воспоминания, и он почувствовал, что у него холодеют руки, затылок стянуло гусиной кожей, и он не мог отделаться от впечатления, что кто-то невидимый третий смотрит ему в спину. Ойжанымай зашлась в смехе, сползла с подлокотника к нему в кресло, втиснулась рядом. Где-то в кронах деревьев висел репродуктор, заполняя ночную тишину печалью одинокой скрипки. То была «Поэма» Мукана Тулебаева. Скрипке, не нарушая ее одиночества, осторожно вторил оркестр. По-моему, это мелодия есть и в опере «Биржан и Сара», почти отрешенно подумал он. Бог ты мой, сколько же грусти несет в себе неразделенная любовь! И тонкая струна печали, по которой вел невидимый смычок, привела его в полузабытую пору далекого детства...

Ему было тринадцать, ей – пятнадцать. Асель звали ее. Или Асия. Отец ее был, можно сказать, стариком, а мать – точнее, мачеха, была до неприличия молода. Отец был казахом, мать – метиской, но какие крови были намешаны в ней, он не помнит. Говорили, что мачеха лет на пять старше падчерицы. И надо ли удивляться, что обитатели ресторанчика, как и всего пансионата, недолюбливали эту особу, так неосмотрительно распорядившуюся своей молодостью и красотой. Чувствуя неприязнь окружающих, она редко наезжала из города в коттедж. В ее отсутствие в коттедж заглядывал отец. Впрочем, и она, если заглядывала, то в отсутствие отца. Даже серая «Победа», мотаясь меж городом и горами и привозя поочередно то мать, то отца, выглядела не просто серой, а вконец измотанной, поскольку не могла свести их вместе. Хотя, казалось бы, чего ей – бездушной машине, а выходит, и она работала на износ, с трудом выдерживая семейные распри. Отец смотрел перед собой невидящими и ненавидящими глазами, словно обвиняя всех и каждого в своих бедах. Его лицо – как маска недовольства,

вырезанная из сучковатого дерева безжалостной рукой судьбы. Под взглядом ее отца они умолкали и ежились. Мачеха же, напротив, само воплощенное довольство. Ей не было до них никакого дела. И когда она являлась в коттедж, они были предоставлены с утра до ночи сами себе. Вместе купались в холодной, с ледников, воде, ели сколько влезет пахучие и вкусные лепешки, которые мачеха пекла на горячих углях, а ночью спали вдвоем в беседке, причем в одном спальном мешке. Чтоб не замерзнуть. Мать Бекета, узнав об этом, пришла в ужас: «Она же окрутит мальчишку, до срока женит его на себе!»

Иногда серая «Победа», запропастившись куда-то, исчезала недели на две. Отец, по-видимому, попадал в тиски служебных дел. Мачеха, вынужденная безвыездно жить в коттедже, тоже не теряла времени даром. У нее были гости. Иногда один гость... В такие дни и вовсе наступала полная свобода. На том пятачке, где сейчас клумба, где наливаются истомой розы, они лежали вдвоем, часами наблюдая, как месяц перебирает призрачными пальцами ветви карагача... Этот Капар – он издевался над ними, как мог. Он что вытворял? Он все стены исписывал тремя словами: «Асем + ...» Да, вспомнил, ее звали Асем! И вот куда ни глянешь, везде было написано рукой Капара: «Асем + Бекет = любовь». Бекет ходил за ним чуть ли не следом, стирал, соскабливал весь этот поклеп и очень уставал от слезки. Капар что проделывал? Он втихаря насыпал им в спальные мешки щебень и гальку. Но всё это в конечном счете ерунда... Потому что было главное: они часами лежали рядом в спальниках и наблюдали за луной, как луна перебирает листья карагача, осыпая их серебром. Они рассказывали друг другу всякие истории, они говорили друг с другом, говорили... О чем? А вот о чем, он не помнит. Зато помнит всё, что он видел тогда и чувствовал, что обожгло его новизной ощущений и не могло забыться никогда.

Всё началось с чего? С того, что однажды Асем завизжала и, как змеей ужа-ленная, выскочила из своего спальника. Всё очень просто: Капар налил туда воды. Назад лезть в мешок она не решилась. Посидела, съежившись, под луной. Постояла на коленях. Ее фигурка была плотно обтянута синим гимнастическим костюмом, наподобие глухо закрытого купальника. В свете луны костюмчик этот казался лоскутом миража, спустившегося с вершины Найзакара, укутавшим хрупкое девичье тельце. Казалось, в складках купальничка мерцает серебряный иней. Все тот же серебряный иней он видел и в ее глазах, неотрывно глядящих в небо, где светились крупные капли звезд. Руки ее казались ослепительно белыми при луне, и такой же белый мысик на груди, там, где глубокий вырез у купальника, и стройные белые ноги, тоже будто бы припорошенные ласковым лунным инеем...

– Что мне теперь делать? – спросила она.

– Иди домой.

– А ты? Тебе не страшно будет одному?

– Я буду спать.

– Один?

– Один.

– А если снежный человек... утащит?!

– Глупости. Здесь его нет. Он на Памире и в Гималаях.

– Всё равно. Не пойду.

– Почему?

- Боюсь. Там гость.
- Он что – съест тебя? Гость тоже человек...
- А он не гость.
- А кто же?
- Сам знаешь кто.
- Тогда... ложись с Капаром.
- Еще чего!
- Да он маленький. И уже спит.
- Ну и что? Твоя мама и так меня дразнит. Невестка, говорит.
- Тогда ложись со мной.
- Чего-о? С тобо-ой?! Ты чего это выдумал, а? Нет, ну... ты чего это выдумал! – она аж задохнулась от возмущения.
- Снежный человек!..

Асем вмиг влетела в спальник Бекета. Тело ее оказалось холодным как мрамор. Но Бекету было не до этого. Он попытался нащупать свои сатиновые трусики, она невзначай сдернула их с него, зацепив за резинку пальцами ног, настолько стремительно влетела в его спальный мешок.

Вдвоем было тесно. Какое-то время лежали молча. Потом ей надоела теснота.

- Повернись сюда! – приказала она.
- Не повернусь.
- Нет, повернешься!
- Не повернусь.

Она пригрозила:

- Буду щекотать.

Он в страхе повернулся. В мешке стало не так тесно, но капюшон для двух голов был маловат.

- Убери волосы! – потребовал он.
- Куда?
- Куда хочешь!

Он в раздражении дунул на ее челку и увидел глаза Асем, лихорадочные, возбужденные:

- Не пялься!
- А вот и буду.
- Тогда хоть... запялься!

И они не мигая уставились друг на друга. Кто кого переглядит. Сморгнешь первым, тебе и застегивать спальный мешок. Она, конечно же, его переглядела.

- Застегни!
- А вот и не буду.
- Почему?
- Руки... вытащить не могу.
- А ты вытащи!
- Заняты.
- Чем?
- Не скажу.

– Назло, да? Ладно. Пусть тогда тебя... ночью... с-собаки оближут.

- Зачем? – опешил он.

– Затем, что у тебя на лице пять слоев грязи. Как раз на пять собак хватит.

Она все-таки заставила его сделать то, что хотела. Спальник он застегнул, но локоть обратно не согнешь, и ладонь его как раз оказалась на ее груди. Сердце бешено колотилось. В такт ему в его ладони словно бы пульсировали пуговочки ее груди. Он от волнения весь вспотел. И тут с верховьев Туюксу закричала косуля. И ей ответили сразу две – одна от Суыксай, другая от Жылбыртобе.

– Первый – козел, – сказал он. – Вторая – коза. А третий – их козленок.

– Ну да! А может все три – козлы.

– Не-ет. В это время козел козлу не отвечает. Это одна семья.

– Да? А почему вместе не ходят?

– Не знаю. Может, кто-то испугнул. Может, потеряли друг друга... Люди тоже не всегда бывают вместе. Вот ты лежишь на улице, мать – в доме, а папа – в городе.

– Тоже сравнил!.. Папа в командировке. А я не на улице. Я в твоём мешке.

– А мама?

Она замялась:

– А мама моя... умерла. Когда меня рожала.

Луна, убаюкав листья карагача, спряталась за черную громаду Найзакара. Жалбыртобе как бы надвинул себе на лицо потрепанный малахай и тоже задремал. Горы будто затянуло черным бархатом. Ее глаза уже не излучали сияние, в них не искрился серебряный иней, они были прозрачны, как родниковая вода. Над головой проступила густая кипень Млечного пути. В ушах звенели колокольчики. Казалось, то звенят звезды, задевая друг друга. Он вытащил голову из-под капюшона. И вдруг увидел: Асем выше его, не хрупкая девочка, а рослая женщина с густой россыпью каштановых волос. Но у волос был тот же волнующий запах, что у девчоночьей челки. И ощущая рукой дыхание теплой груди, он замер в истоме, поглаживая пальцами то, что казалось ему девичьей родинкой...

Его руки лежали на груди ойжанымай. Колченогое кресло осело под грузом разомлевших тел. Она обняла его, нежно глядя по щеке и вискам. Он с трудом отнял голову от ее теплой груди, еле поднялся с кресла, отметив про себя, что ноги он всё же отсидел.

Он зашел к себе в люкс, включил свет. Но вошедшая следом за ним Ойжанымай тут же его погасила. Нащупал в темноте бутылку минеральной, сделал пару глотков – прямо из горлышка. Прошел в спальню, разделся и лег. Глаза обвыкли в темноте, и шторы на окнах вновь начали излучать голубое сияние. Казалось, лоскут миража упал с вершины Найзакара и его повесили вместо портьеры.

– А я опоздала. Последний автобус ушел. Может, приютишь?

– На ночь?

– Не навсегда же.

В передней послышалось шуршанье шелка, плеск расплетенных волос. Он лежал как натянутая струна, будто близится неотвратимое что-то, от чего он в ужасе готов бежать...

Занавеска распоролась надвое. Рассекая голубой мираж, к нему приближался призрак, похожий на беломраморную статую, зачем-то одетую в женскую комбинацию. Между всхолмиями груди поблескивала серебряная снежинка. Эта снежинка отчего-то напугала больше всего, ему казалось, она его обожжет. Она откинула с лица свои черные, до колен, волосы, и вновь блеснули ее глаза. Лихорадочные, возбужденные. «Да я же видел их где-то!» Самое главное, он видел их, когда она была, как и сейчас, нагой. Не во сне же!

– Подвинься! – сказала она.

Бекет отвернулся к стене.

– Повернись сюда! – приказала она.

– Не повернусь.

Она пригрозила:

– Буду щекотать!

Он повернулся, в упор стал смотреть на нее:

– Теперь что прикажешь?

– Ничего. Приказывай ты. Тебе уже не тринадцать, мне – не пятнадцать.

О чем это она?!

– Как же зовут тебя, Ойжанымай?

– А по-разному... Хочешь, зови меня Асем.

Ее тело было холодным, как мрамор...

Первое, что он услышал, был грохот реактивного самолета, оглушившего и теперь удалявшегося. Он попытался зафиксировать внимание на том, что его окружало. Нет, это не реактивный самолет. Это шумит речушка. Кымысары. И порывистый ветер с гор треплет голубые занавески. И тело женщины рядом голубоватое, как снег в сумерках. И волна ее густых, каштановых волос на подушках.

– Убери свои волосы, – прошептал он.

Она не шелохнулась. Лишь ресницы, отягощенные тушью, трепетали сквозь сон. «Бог ты мой, где же я их видел? Не во сне же!» Он не хотел верить самому себе. И, перебрав в памяти незнакомые лица, опять подумал об Асем...

Она училась в балетной школе. «И раз, и два!.. И раз, и два! Поворот!.. Поворот!» Девочки принимают стойку. «Внимание! Начали. И раз, и два!.. Не сутулься!.. Ты меня слышишь? На тебя что – взвалили мешок соли?» Тощая женщина, вне всякого возраста, с длинной, змеиной шеей и резким, как удар хлыста, голосом. «Ведьма!» «Асем, кого ты оставила в коридоре?» У Асем шея лебяжья. Когда, напрягшись, вздернув подбородок, она занимала исходную позицию у стойки, она была точь-в-точь как гипсовая балерина, что застыла у входа в училище. Все девочки одеты в черное, и лишь она, наперекор и вопреки, надевала свой синий костюмчик. И всегда она стояла перед строем, одна, лицом к лицу с этой ведьмой вне возраста. И ведьма всегда ругала ее. И всегда хвалила – ее. Асем была красивей всех девчонок в балетной школе, Бекет в этом не сомневался.

Район, где она жила, – особый, да и школа, хоть и на окраине, тоже не для всех. Иногда после уроков он тащился к ней, считай что через весь город. Огромная, до потолка, двустворчатая дверь в класс балета была заперта изнутри, и ключ находился у той самой дамы со змеиной шеей и с голосом резким, как удар хлыста. Бекет перочинным ножом отмыкал дверь, слегка приоткрывал ее и подсматривал в щель, как тетка дрессирует девочек. Асем не всегда его замечала. А если заметит, оглянется, то эта дрессировщица тут же, стуча копытами, мчится к дверям, в раздражении громко захлопывает их и снова запирает изнутри. Но порой ей и этого мало, она выгоняет Бекета аж во двор.

Во дворе он стоит перед гипсовой танцовщицей, одетой в коротенькую, до pupa, пелеринку, и разглядывает ее. У танцовщицы тяжелая жизнь, в пору хоть плачь гипсовыми слезами. Пацаны то усы с бородой ей приляпают, то маску на глаза напялят. А бывает, и трусы из грязи сделают. Она и рада бы сбежать отсюда, но куда ей, гипсовой?

Бекет стесняется хорошеньких как ангелочки девочек, и едва раздастся звонок с уроков, он исчезает со двора, прячется по закоулкам. Асем никогда не бежала за ним, не искала его. Она поглядывала на него свысока, держа его чуть-чуть на расстоянии. Он молча тащился за ней следом, не зная толком, зачем пришел, о чем говорить. Она его тоже ни о чем не спрашивала. Каждый раз ему подворачивался под ноги круглый камешек, и он, пиная его, докатывал от ворот школы до ворот дома Асем. Если родителей нет, она его заводит в дом, усаживает в глубокое кресло, вручает толстенную книгу-альбом. Всё о балете. И пока он рассматривает полуголых и знакомых ему балерин, она готовит кофе. Потом они пьют его из чашечек, величиной с наперсток. Она садится на ручку кресла и, опершись локтем о плечо Бекета, рассматривает картинку в книге. У него навсегда так и осталось перед глазами это: ее длинные, тонкие белые пальцы, и в этих пальцах – шоколадка – одна на двоих, они откусывают от нее попеременно, иногда губами сталкиваясь на последнем, совсем уж крохотном кусочке. Иногда их заставляла мачеха. «Опять?» – говорила она, и голос у нее был как у той дрессировщицы в балетном классе. «Опять!» – отвечала Асем голосом, тоже лишенным приятности. Там было чисто женское соперничество, почти на равных. Асем даже не поворачивалась в ее сторону. Продолжала сидеть на подлокотнике кресла, еще теснее, напоказ, прижималась к Бекету. И сидят они так, пока не съедят шоколадку. Бекет готов был провалиться: краснел, потел, но боялся словечко промолвить. Хотелось рывкнуть на нее, мол, «перестань!», но характера не хватало. И потом – ничего предосудительного не было.

Однажды в ТюЗе состоялся их творческий концерт. Асем выходила на сцену три раза. Он помнит до сих пор – в «Щелкунчике», в «Лебедином озере». И еще был коротенький танец, звучала одинокая скрипка, не нарушая ее одиночества, тихо вторил оркестр... Так вот она откуда, эта скрипка, с тех давних пор она звучит в нем и не умолкает... Бекет был поглощен не танцем, а игрушечным силуэтом Асем, плывшей как перышко в голубом мареве. Когда она, одетая то в пачку, то в синий шелк с рваным подолом, выходила на цыпочках кланяться публике, ее большущие глаза блестели лихорадочно, иступленно, как они могли блестеть лишь у нее.

Сегодня тот зыбкий силуэт девочки-подростка, пятнадцать лет лежавший в памяти Бекета как в глухом колодце забвения, – она даже не снилась ему ни когда! – сегодня этот силуэт откликнулся в его душе далеким эхом. Да, именно пятнадцать лет назад он видел ее в последний раз. Она хоронила отца, и Бекет помнит не рыдания даже, а ее горе-горькое, что уместилось в простеньких словах: «Куда же я теперь?..» И ее иступленные большущие глаза смотрели в полной безнадежности перед собой и не видели никакого просвета... После этого коттедж в горном ущелье осиротел, она сюда больше не приезжала. Говорили, что молодая вдова обменяла дом, уехала в другой город, а как решилась судьба ее падчерицы, он не знал. Сколько раз он прикатывал камешек к некогда желанному дому! Но в доме том теперь жили чужие люди, там не было Асем. И Бекет уходил, и не мог заполнить пустоту в душе, в том уголке ее, который так прочно и, казалось, навсегда принадлежал хрупкой девочке в синем купальнике с лихорадочно и иступленно блестящими глазами... Вскоре и дом тот снесли, и всё исчезло, как голубой мираж, однажды приснившийся в детстве...

Ночные сумерки блекли, как ситец, линияющий на глазах. Голубые шторы, излучавшие свет, теряли свою ночную таинственность. Казалось, обесцвечива-

ется сама жизнь, из которой уходит любовь, а ей на смену идет заурядная свара. Женщина, в голубом мареве ночи казавшаяся привидением, до утра озарявшая неземными ласками, при свете дня вновь превратилась в Ойжанымай. Она встала с постели, прикрыла лицо Бекета одеялом, чтоб он не видел ее обнаженной, и он с облегчением вытянул занемевшие руки, откинув их на вторую подушку. Подушка была мокрой. Выходит, женщина плакала ночью.

Он долго бродил по горным распадкам вокруг Медео. Осень еще не пришла, но от зноя и сухости кроны деревьев пожелтели, и листья опадали до времени. К лицу липла паутина, на голову ливнем рушились гусеницы и прочая пакость, которая одолевает дерево, если оно занедужило от жажды. Днем Алатау опять набросил на себя лохмотья, и даже пирамида Найзакара смотрелась уныло, будто не было ночной феерии, будто иссяк ее ярко-синий мираж. И стадион, вблизи казавшийся огромным, отсюда, с высоты, похож на деревянную пиалу. С утра слонявшиеся вокруг стадиона спортсмены и туристы начали осажать кафе и шашлычные, призывно манящие синим дымком. Его поразили усталые, помятые лица людей, толпящихся у мангалов и столиков. И деревья измучены зноем, и люди. Не найдя покоя ни глазам, ни душе, он вернулся в гостиницу.

В номере всё вылизано до предела. Даже ковер на полу так выдраили пылесосом, что он выглядит словно музейный экспонат. Заменены наволочки и простыни. Ойжанымай расстаралась. Комнату, которую он обжил, с которой сроднился за три месяца, в каких-то три часа как подменили, она стала чужой. Как будто вместе с пылью из комнаты вытряхнули душу, а вместе с ней и те желанные мгновения, которые он здесь пережил и которыми дорожил. Так бывает, когда что-то теряешь и надо свыкнуться с потерей.

Он вышел на балкон. Прямо перед ним тарахтел бульдозер, отвоевывая у гор площадку для новых строений. Балкон словно бы нависал над пропастью, и Бекету стало не по себе. «Что я делаю здесь? Как я сюда попал? Кто и что меня держит на краю этой ямы? Бежать отсюда, быстрее бежать!..»

Он вернулся в комнату. В колченогом кресле сидел мужичонка, похожий на мешок утильсырья. Обшарпанный, в тряпье, невымытый и нечесанный, плешивый. К тому же он смахивал на грязного стервятника, который промышляет на помойках. Лицо в синяках и струпьях и сивый нос в прожилках не оставляли сомнений о тайных и явных пороках пришельца. Бекет видел его впервые, но странное дело, он сразу понял, что это был тот третий, невидимый согладатай, что пас его, Бекета, последние ночи и дни.

– Я Асин муж, – объявил он устало, не глядя на Бекета и словно бы ему давая получше разглядеть свою вспотевшую плешь.

– Ну и что?

– Я муж Асем!

– Что дальше?

– Дальше? Надо подумать.

Бекета чуть не стошнило. А гость достал из кармана пачку «Примы», мятую-пермятую, как и сам ее владелец. И спичечный коробок был тоже измусолен, с прожженными боками, о которые, видать, тушили сигареты много раз. Пальцы с черной каймой под ногтями дрожали.

– Будем знакомиться.

– Зачем?

– Тебе же интересно знать, кто я?

– Видать и так.

– Тем лучше. Родом я, сам видишь, из аула алкашей. Когда-то песни писал.

Сейчас их другие поют, а я слушаю и похмеляюсь... Кстати, у тебя есть что выпить?

Бекет принес из серванта бутылку коньяка и рюмку.

– Ишь ты! «Арарат»... – гость долго рассматривал бутылку. Затылок его висел складками, как вымя старой и уже переставшей доиться коровы. – Подумать только, что люди пьют! А бормотухи нет? Мне бы винца крепленого...

– Не держим.

– Ладно. На нет и суда нет. Было бы что засосать.

Он щелкнул грязным ногтем по рюмке. Она жалобно звякнула.

– Хрусталь!.. Посудина, конечно, не для нас, но... такую тару удобно при себе носить, в кармане.

Давясь и корчась, он выпил рюмку. Вторая легче пошла. Его плешь, будто ее окатило дождем, стала мокрой.

Он деловито глянул на бутылку:

– Ты пить из нее больше не будешь, побрезгуешь, – он закрыл ее пробкой и сунул в карман пиджака.

– И рюмку забирай.

– Э, знатока сразу видно... А что ты куришь? О-о, «Казахстанские»! Годится, – он достал сигарету, а пачку тоже отправил в свой карман.

– Еще что нужно?

– А ты не торопись. Нам есть о чем поговорить.

Он закурил не спеша. Вытянул из кармана платок, задубевший от грязи, отер им лысину:

– Теперь давай деньги. Пятнадцать рэ. На поезд. Надо съездить в родные края. Вдохнуть, так сказать, воздух отческих нив. Прийти в себя. Набраться новых впечатлений...

Бекет положил перед ним четвертак. Тот сокрушенно развел руками:

– Нет сдачи. Но, я думаю, за прокат моей жены... правда, бывшей... это недорого.

– Паскуда!..

– Всего-то! Меня оценивали круче...

– Пшел вон!

– А горячиться не стоит. Мы всё же джентльмены.

– Вон, говорю!..

– Бить, что ли, будешь? И это нам не впервой... Бей, если хочешь. С меня не будет... Жены нет, детей Бог не дал. А бродячему псу все равно. Ну, двинешь ты разок, это моя обычная доза. Так ведь шум, скандал. Асем с работы выгонят. А нам с тобой и о ней думать надо...

Он говорил все эти слова, а его глубоко запавшие глаза с отечными мешками деловито изучали комнату.

– О! Ботинки. То, что мне надо.

Он вылез наконец из кресла, сбросил с ног своих рвань, примерил обувь.

– Великоваты! Но – сойдет. Если что, вату подоткну.

И, примеряясь к обновке, продолжал высказывать свой взгляд на мир:

– Бабу можно найти, а вот ботинки не всегда раздобудешь. И детей наклепать – нехитрое дело. Думаешь, у меня их нет, значит я бесплодный? Да я их настрогал

бы знаешь сколько!.. Асем не захотела. С меня хватит, говорит, и одного алкаша... Так, что еще? Костюм есть. Брюки... их надо бы погладить. Но – время, время!.. Времени нет. Так, деньги есть. Всё, пожалуй, – он глянул в упор на Бекета. – А теперь, браток, прощай, и если навсегда, то навсегда прощай! Думаю, ты на меня не в обиде?..

Бекет с трудом одолевал гадливость, будто ему плюнули в чашку. В комнате был стойкий запах помойки. Бежать, бежать отсюда! И – немедленно... В минуту собрался. Пошел к администратору сдать номер. За стойкой была незнакомая дама. Но тем не менее она по-своейски ему улыбнулась, показав все свои золотые коронки. Бежать, бежать отсюда!.. На каждом этаже толпились люди. Казалось, все они тоже сбегают, пряча глаза друг от друга. Особенно если рядом маячит женщина.

Легковые машины, шаркая колесами по раскаленному асфальту, пронеслись мимо. А он и не пытался их остановить. Будто пешком решил идти до дому. Было обидно и горько, словно его обокрали. Причем выкрали не шмутки – душу. И можно бы еще вернуться, и что-то поправить, что-то изменить. Но он шел без оглядки, боясь, что если обернется, то уже не сможет уйти.

Берег мутной речушки усеян валунами и палатками. Группа парней покоряет желтую скалу обочь дороги, карабкаясь вверх по канату. Когда-то и он как одержимый лез на эту скалу, и он стер здесь не одну пару кед. Как далеко всё это и как несерьезно!.. Казалось, пожухлый лес внизу задушен пылью. Лес тоже изнывает, как и его, Бекета, оплеванная душа. Хотелось курить. Он похлопал себя по карманам. Сигареты были конфискованы плешивым стервятником, а вместо них в кармане было два кусочка сахара. Это чтобы ему так горько не было... Сера «Волга» с шашечками на дверях чуть не боднула его, затормозила с визгом: – Жить надоело?!

Он без звука открыл дверь, втиснулся в кабину. Таксист, пропахший ржавчиной, с латунными усами дядька, с болью, будто палец себе отрывает, дал ему сигарету. Колеса шаркнули, рванулись с места. И когда такси подъехало к дому, счетчик выбил ровно четыре рубля. Бекет сверх четырех рублей вручил таксисту два кусочка сахара.

– Это зачем?

– На чай.

– Кретин, – поставил диагноз таксист.

– Есть немного, – согласился Бекет.

Как назло, ни раньше ни позже, отец брился в ванной, благоухал одеколоном. Чтобы хоть как-то успокоиться, Бекет позвонил Капару, не очень кстати нарвался на его жену, и эта коротышка чертова, видать, с утра полаявшись с мужем, заодно приголубила и Бекета: мол, что – опять пирушку затеваете? Вам бы только zenки залить... Он, как змею, положил телефонную трубку.

– Заполняй анкету! – дал команду отец. – Чем шлындать по горам, займись лучше делом.

– Каким?

– А хоть каким! По мне, бери лопату в зубы и долбай навоз.

Отец снял со спинки стула костюм, стал в него облачаться, сверля глазами сына: тот, сидя на стуле, оперся невзначай о спинку и помял воротник пиджака. С остервенением расправив воротник, отец начал повязывать галстук. Теперь пульверизатором пройдет по своей никак не седеющей шевелюре – оно б уже

годились для солидности поседеть хоть на чуток! – и тщательно прилизет голову, волосок к волоску.

Выходит, Капар под арестом жены. Та-ак...

– Где Жупар?

– Чуть свет ушел в горы, – плачущим голосом ответила из кухни мать, всю жизнь дежурившая у плиты и всех терроризировавшая этим. – Сколько можно бить баклуши! Пора бы делом заняться...

И она туда же!

– Ну да, жди – займется он делом! – отец даже от пульверизатора оторвался.

– У них у всех одна болезнь – горы! Валуны задницей мять.

Тяжело переваливаясь, охая, пришла из кухни мать, устало плюхнулась в кресло. Ее седая прядь у лба, когда-то очень эффектная, теперь уже была не прядью, а чем-то большим, и у глаз проступала суровая сетка морщин.

Страдая от непонимания того, что происходит, она вручила Бекету извещение на денежный почтовый перевод:

– Ты объясни мне, что всё это значит? Откуда эти деньги? Ты не работаешь, а деньги тебе шлют и шлют? Спрашивается, за какие заслуги и кто их тебе шлет?

– Парни.

– Что за парни?

– Парни из бригады.

– Что за бригада?.. Мне всё это напоминает шайку жуликов.

– А может, шайка и есть! – мстительно подытожил отец и, хлопнув дверью, ушел.

Мать только этого и ждала, чтобы дать волю слезам и печалям:

– За что же мне такая участь? Один сапожник, другой клоун-картежник, третий из тюрем не вылезит... Малой бьет баклуши в горах, старшой как бирюк из тайги не вылезит. Бедный отец! Он ради вас жизнь свою положил... Вы бы его пожалели!..

– Может, хватит, а, мама? Отцу наша жалость не нужна. Он сам себя пожалеет. И насчет денег моих не паникуй. Я их заработал. Это мой... гонорар.

– Ты что – в газете что-то напечатал?

– Нет, не в газете, ну как тебе все это объяснить? Понимаешь, лес рубят – не щепки летят, а купюры. Я зиму целую потел в тайге? Потел. Это плата за мой горький пот.

– Опять уедешь?

– А что мне делать здесь?

– Вот все вы, все, как сговорились! Вам бы только из дому сбежать... Жапар и тот, в колонии вроде бы, а тоже ни в какую. Отец договорился было, чтобы его перевели в город, на стройку, так он там чуть ли не голодовку устроил. Господи, чем так мучиться с ним, я уж думаю, лучше бы он тогда из холодильника не выбрался...

Их было пятеро, но самым невезучим оказался Жапар, он будто кара небесная для родителей. Родился недоношенным, целый год его выхаживали в больнице. Потом лет до пяти не сходил с рук матери, вместе с Жупаром попеременно сосал грудь. Был хилым, болезненным. А в шесть лет, играя в прятки, залез в холодильник. Залезть-то залез, а вылезть не смог и чуть в нем не умер. В девятом классе влюбился в учительницу, хотел покончить жизнь самоубийством – ну и так далее.

Всё тоже кончилось скандалом, его вышибли в вечернюю школу, с грехом пополам он закончил ее. И оказался на заводе, а там из-за какой-то драки все шишки собрал на себя и загремел в тюрьму.

– Мама, а, мама! Что, если мы с тобой выпьем? Немного...

– Чего-о?..

– Коньяку по рюмке.

– Господи! Ты же не пил...

– Нет-нет, по рюмке! А потом... устроим танцы.

– С кем?

– С тобой.

– Да я уж забыла, когда танцевала.

Бекет никогда не ластился к родителям, не куражился, как другие дети, не требовал ни редких игрушек, ни модных тряпок. Мать, которой он налил рюмку коньяку, опьянела уже от самого этого факта, умильно глядя на сыночка.

– Можно, я спрошу тебя, сынок? Тебе уже скоро тридцать, а ты...

– А я до сих пор не женился.

– Ага. Почему? Кого ты ждешь, какую такую красавицу?..

– Жениться-то, мама, пустяк.

– Так женись!

– Знаешь, мама, был в Риме философ такой – Лукреций Кар. Так вот, он сказал: пока не исполнится тридцать – не женись, пока не исполнится сорок – мудростью не делись.

– Дурак твой философ. Я с ним, конечно, не знакома, а вот с твоим отцом мы знаем когда поженились? Мне было шестнадцать, ему двадцать пять. А отец твой, я думаю, не из глупых людей.

– У-у, отец наш, он... он особой породы.

– Опять насмешки. Ты что – злить меня вздумал? А ну – ступай! Ступай, ступай! Ищи, с кем можно танцевать... Ты глянь на них, какие они все вредные!..

Облака над горами смотрятся еще одной горной грядой, и начинает казаться, что Алатау – предел всех мыслимых высот, и что сюда, только сюда устремлены все ветры небесные, весь солнца свет, все тучи с их животворным дождем. Словом, не горы, а начало начал видимого и невидимого мира. Но...

Что мне вершины твои, Алатау,

Если косуль я твоих не стрелял –

Если тропинки твои, Алатау,

Не у любимой в глазах заплутали,

А затерялись в россыпях скал?..

– Видать, допекла она тебя, парень, твоя зазноба! Ты сам-то хоть слышишь, что говоришь стихами? – две молодаяйки, каждая нянькая в коляске по двойне, подсели на лавочку к Бекету, с жадностью приникли к брикетам мороженого. – Нам тоже когда-то писали стихи. Видишь, чем всё это кончилось?

Бекет пересел было на другую скамейку, но до него ее уже занял старик с четырьмя стаканчиками мороженого, он настороженно косился на Бекета, боялся, наверное, что Бекет стянет у него один стаканчик.

В центре сквера возвышался памятник – очень большому человеку, можно сказать, самому великому. И Бекет ощутил, что это бронзовое величие его угнетает. К тому же разбитной фотограф, захвативший площадь в свое монопольное

пользование, как назойливый слепень, никому не давал покоя, кружа по скверу. Бекет ощутил себя волком, которого заперли в вольер и которому некуда укрыться от назойливых глаз. Он снова с тоской посмотрел на горы. Громада Найзакара в чалме рваных облаков напоминала гриб атомной бомбы. Вспомнил издевку отца: «У них одна болезнь – горы», – и заныло, защемило сердце. Подмывало остановить такси и рвануть туда, в тот гостиничный номер, где по ночам портьеры будто голубые миражи. И рука готова уже была вскинуться при виде зеленого огонька такси, но он одергивал себя: «Бежать отсюда надо, бежать!»

Он зашел на почту и только что полученную тысячу рублей отправил на имя Асем. Там, где значилось «Для письменного сообщения», он вывел слово: «Прости» – и через запятую: «в ту пору тебе было пятнадцать, а мне – тринадцать!..» Вот и всё.

Твердя поминутно: «Бежать надо, бежать!» – он проторчал в столице всю осень. И еще ползимы. Пытался было впрячься в работу. Исправно, с девяти до шести – от и до, отсиживал на службе, но могло ли это заполнить пустоту в душе? А болтовня коллег, что «природа гибнет», «мир на грани катастрофы», и полное при этом бездействие выводили его из себя. А потом появился Сигат. «Ну что – застоялся?» – только-то и сказал. И когда самолет оторвался от взлетной полосы, когда внизу остался город, где Бекету когда-то перерезали пуповину, показалось, что в то мгновение ему перерезали ее вторично, отпустив его мятущуюся душу в большой и тревожный мир. В иллюминаторе проплывали вершины Алатау, так и не сумевшие удержать его, пересилить тоску по Алтаю.

Продолжение следует.



В октябре 2023 года отмечают:

80-летие

Минуар Акимханов, *поэт*

Бахыт Карибаева, *литературовед, критик*

70-летие

Бахыт Мерекенова, *прозаик*

Редакция журнала «Простор» сердечно поздравляет юбиляров!

